

ПОЭТЫ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЧТЕНИЙ

«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»





Леонид Шевченко

**ЗАБВЕНИЮ
В ЛИЦО**

**Москва
ЛитГОСТ
2022**

УДК 821.161.1
ББК 84
Ш37

Составитель *Борис Кутенков*

Ш37 Шевченко Леонид

Забвению в лицо // Леонид Шевченко. — М.: ЛитГОСТ, 2022. — 140 с. — (Поэты литературных чтений «Они ушли. Они остались»).

ISBN 978-5-6041920-6-1

Новая книга поэта, прозаика, журналиста и публициста Леонида Шевченко выходит в год, когда совпали две памятные даты: 50 лет со дня рождения и 20 лет со дня его ухода из жизни. В неё вошли избранные стихотворения, представляющие все периоды творчества этого автора, а также три статьи — Елены Ластовиной, Марины Кудимовой и Татьяны Бек — биографического и филологического характера о его личности и лирике.

ISBN 978-5-6041920-6-1

© Шевченко Л., наследники, 2022
© Юганова М., дизайн обложки, 2022
© ЛитГОСТ, макет, 2022

ПРАВО НА КРАСИВУЮ ГИБЕЛЬ

В своём рассказе «Собиратель голосов», опубликованном в сборнике «Русская книга мёртвых» только спустя семь лет после смерти автора, Леонид Шевченко пишет: «Необходимо вовремя затормозить и погибнуть. Умереть настоящей неподдельной смертью — высокое искусство. Можно прожить тысячу лет оригиналом, маргиналом, наркоманом и проч., но в смерти оказаться обычным Петровым, который загнулся от какой-то расхожей дряни. Нет уж, мы оставляем за собой право на красивую гибель — детективная история, мистическое приключение, — и пусть никто не найдёт в нашем мгновенном уходе стилистической погрешности, дилетантской ошибки»¹.

Сложно сказать, насколько красива была гибель тридцатилетнего Шевченко, а чем обусловлена — ещё сложнее: её неофициальные версии до сих пор множатся, одна страшнее другой (топор в качестве орудия убийства и передозировка наркотиков — свежие варианты); но тем самым его таинственный уход обставлен в любимом поэтом готическом стиле. Прошло двадцать лет с той апрельской ночи, а обстоятельства преступления, как и сами преступники, по-прежнему неизвестны. Зато известно, что убеждения и журналистская деятельность Леонида (естественно, успешная — интервью с Борисом Немцовым и Борисом Гребенщиковым тому подтверждение) вызывали вполне объяснимое негодование у определённого круга людей. Его бунтарское начало (Че Гевара как один из главных символов той эпохи сыграл здесь свою роль) и манера держаться, вкупе с редкостной эрудицией, не могли не раздражать окружающих, особенно коллег по литературному цеху.

¹ Шевченко Л. Русская книга мёртвых. — М.: Коровакниги, 2009. — 226 с. — С. 153-154.

Посещать литстудию при Союзе писателей, которой в то время руководил Василий Макеев, Леонид начал, кстати, достаточно рано — в четырнадцать лет (1986 год). В студии он знакомится с Алексеем Дьячковым, который впоследствии занялся издательским делом и в 2009 году выпустил «Русскую книгу мёртвых» (сборник рассказов Шевченко), отредактированную поэтом Александром Леонтьевым, также дружившим с Леонидом уже в 90-х.

В 1989 году Леонид поступил на факультет филологии и журналистики Волгоградского государственного университета, а после окончания первого курса ВолГУ отправил стихи на творческий конкурс в Литинститут. Узнав, что получил «пять с плюсом», сразу же поехал сдавать вступительные экзамены и был зачислен без документов на первый курс семинара поэзии Татьяны Бек. Там он встретил будущую супругу — поэтессу Елену Логвинову из Славянска. Учился вместе с драматургом Екатериной Садур, которая сохранила подаренную ей поэму «Марина Мнишек», опубликованную в 2013 году журналом «Знамя». Другая его сокурсница — поэт и прозаик Мария Степанова, известная также своим интернет-изданием о культуре Colta (бывший портал OpenSpace.ru), состояла с Леонидом в переписке и тоже около двадцати лет хранила присланный ей автором цикл стихотворений «Новая коллекция», часть которых под названием «Стихи 1995 года» вошла в июльскую подборку «Знамени» в 2018 году.

Похожий, по словам Логвиновой, на молодого Бориса Гребенщикова, а по словам Татьяны Бек — на Пьеро и на Блока одновременно, Леонид совпадал с поэтом-символистом не столько по внешним параметрам, сколько по трагическому мироощущению, обусловленному существованием на сломе эпох, наблюдением за сменой властей, за тем, как человек превращается в «огарок никому не известной свечи». Распад СССР вынудил Логвинову в 1992 году вернуться в Украину. В итоге сначала она, а потом и Шевченко были отчислены. В последующие годы Шевченко постоянно перемещался между Волгоградом и Славянском, работая то дворником, то сторожем, то почтальоном.

В 1993 году у него выходит первая поэтическая книга «История болезни» в составе совместного сборника стихов Александра Леонтьева и Елены Логвиновой. Летом 1995 года в Славянске у Шевченко и Логвиновой появился сын Игнат, но семейная жизнь не складывалась — Леонид и Елена расстались, и в июне 1997 года Леонид вернулся в Волгоград и устроился библиотекарем в отдел эстетического воспитания Волгоградской областной детской библиотеки, где в течение трёх лет вел свою литературную студию. Тем же летом Шевченко познакомился с журналисткой Юлией Хайрутдиновой, которая стала его второй женой. Через четыре года у них родился сын Василий.

Летом 1999 года журналистка Татьяна Кузьмина и волгоградское телевидение сняли о Шевченко передачу. В том же году вышла антология поэзии «Строфы века», составленная Евгением Евтушенко, в которую был включён Леонид — единственный из волгоградских поэтов. А в 2000 году увидел свет первый и единственный номер литературного альманаха «Шар», составленный, отредактированный и изданный Шевченко.

В 2001 году в жизни Леонида Шевченко произошло несколько значительных событий. Он устроился на работу в газету «Вечерний Волгоград», выпустил книгу стихотворений «Рок» и стал отцом сына Василия. Осенью принимал участие в первом Форуме молодых писателей в подмосковном посёлке Липки. К тому времени он уже был членом Союза писателей России. С 2002 года стал работать в газете «Первое чтение». Вечером 24 апреля вместе с женой посетил концерт легенды русского рока Вячеслава Бутусова, после чего собирался написать о нём статью и утром сдать в редакцию. Но на рассвете 25 апреля его душа покинула наш мир...

Ещё работая в библиотеке, Шевченко для выступления перед школьниками написал маленький текст о своих культурных предпочтениях, который хочется привести здесь целиком в качестве заключительных слов об этом выдающемся авторе.

«Любимая эпоха № 1: Средневековье; труверы и трубадуры — отсюда музыкальные пристрастия: композитор и поэт Вальтер дер Фогельвейде; кельтский фольклор, культовая католическая музыка.

Любимая эпоха № 2 (“время цветов”): конец 60-х — начало 70-х (не СССР — больше Америка). Музыка, поэзия, литература: писатель Джек Керуак, Сэлинджер, Берроуз; поэт — Джим Моррисон (группа DOORS), Дженис Джоплин, Джимми Хендрикс. Любимое музыкальное направление — психоделия (рок).

Вообще литературные пристрастия: В. Набоков (проза, стихи), Б. Поплавский (проза, особенно — стихи), Арсений Тарковский (стихи).

Что есть моя поэзия? Хождение по девяти кругам игрушечного Ада. Манипуляция райскими символами: небесный Иерусалим, Эльдorado и проч.

Я сам выдумал Своё время: прошлое, настоящее и будущее — в нём и живу».

ЛЁГКИМ МИГОМ УТОМЛЁННЫЙ

Продираясь сквозь тёмный опыт прочитанного и пережитого, как не спросить: гениями рождаются или становятся? Типология гениальности если и существует, то не занимается вопросами исторической вакантности гения и не учитывает феномена социальной случайности. Да, похоже, этого и нельзя учесть, поскольку случайность недоказуема так же, как и гениальность. Оценить случайность, считал Ницше, способны только поэты.

Лучшее, что написано о Леониде Шевченко на сегодняшний день, — эссе Елены Мордовиной в рамках рубрики «Уйти. Остаться. Жить» на сайте «Современная литература»¹ и давняя рецензия Сергея Арутюнова на книгу «Рок»². Уверена, что спустя двадцать лет Арутюнов многое оценил бы по-другому.

Континуум гениальности прерывист и сплошной среды со второй половины XX века не образует. Это только в золотом веке русской поэзии душа Пушкина ещё не отлетела, а Лермонтов уже дописывал «Смерть поэта». А Некрасов, вынырнув из колыбели Волги, уже мчался в Петербург преступать волю отца. В веке серебряном, на закате символизма, при всем авторитете Блока до «Двенадцати», его отнюдь не считали «солнцем русской поэзии», а после «Двенадцати» «тьма карет» поэмы «Возмездие» превратилась в тыкву ЛЕФа. Гумилёва не счи-

¹ Мордовина Е. Леонид Шевченко: «не было смерти и жизни». // Современная литература, 12.09.2020. URL: <https://sovlit.ru/articles/tpost/daz08ju8o1-leonid-shevchenko-ne-bilo-smerti-i-zhizn>

² Арутюнов С. Отрицательный инфинитив. Рец. на кн.: Леонид Шевченко. Рок. Стихи. — Волгоград: Государственное учреждение «Издатель», 2001. — 192 с. // Знамя, №2, 2002. URL: <https://znamlit.ru/publication.php?id=1669>

тали крупным поэтом, пока Ахматова не внушила эту мысль своему окружению. Георгия Иванова оценило по достоинству только поколение Дениса Новикова.

Леонид Шевченко родился в 1972-м, на два года раньше Бориса Рыжего. И если Денис и Борис через четверть века всё же заняли определённые — не места, но ниши, т.е. пустоты континуума, то шанс Леонида хотя бы на такое встраивание был исчезающе ничтожен. В рецензии Сергея Арутюнова, при всей точности социального анамнеза, нет анализа масштаба явления. Да и не могло быть в 2001 году. Почему? Только ли потому, что рецензируемого ещё не убили возле его волгоградского жилища («Я шёл домой и не пришёл домой...»)? Думается, причина в смертности, ставшей основой эстетики Шевченко: «...в поэтическом мифе Шевченко все иностранные слова означают "смерть"» (Арутюнов). Убеждена, что Леонид доказывал бы теорему смерти, как герой романа Газданова «Возвращение Будды», родись и живи он в любую иную эпоху. Смертность, память смертная, никак не уравнивается с историческими девиациями. Недаром Шевченко оперирует эпическими категориями: «эпоха пламени, столетие измены». Событие смерти, наравне с любовью, войной и природой, — неустрашимые темы поэзии и философии. Христианская модель «прирученной смерти», очевидно, занимала воображение Шевченко. Не мог он не знать и о монашеской традиции почитания во гробе («скончавшиеся во Христе не умерли, но почитают» — Ефрем Сирий), высмеянной в романе «12 стульев». Как человек, безусловно, религиозный, Леонид, конечно, думал о «долине смертной тени» из священной песни царя Давида (Пс. 22, 4) и представлял её. Но на заре нулевых, с ещё не изжитой травмой 90-х, такие размышления человеком его поколения не декларировались. Персонаж Газданова «неправомерно забыл, что именно следует считать важным и что незначительным», и ощущал постоянно «двойное присутствие, свидетеля и участника». Сравните у Шевченко:

*Стеклянные двоящиеся лица
из прошлого смотрели на меня.*

Забвение удваивает «великое чувство свободы» (Некрасов):

*Мои стихи, не ставшие известными,
отмечены свободой двойной.*

В тотальном распаде материальным удостоверением бытия и «пиром духа» остаётся только книга:

*О нет, я не живу в двадцатом веке,
я пьянствую один в библиотеке.*

Помимо книжного фонда, библиотека как социокультурный институт ценна информационными хранилищами — систематическим каталогом и алфавитной картотекой. Отсюда у Шевченко этот постоянный «нейминг», каталожный, перечневый принцип письма, расстановка дат в названиях стихов. Слово бы поэт (лиргерой) очнулся между очередными умираниями в рассыпанной библиотеке Борхеса и пытается её собрать:

*Я проснулся среди книг, и они лежали
в беспорядке...*

Из вороха этих книг, предназначенных к утилизации, с усилием извлечён и спасён Шекспир, к которому в стихах Шевченко множество отсылок:

*В твёрдом найти нелегко переплёт
Гамлета с видом на берег морской...*

«Твердый переплёт» есть метафора библиотеки как укрепленного района, контролирующего безопасность территории. Обесценивание КНИГИ при удорожании номинала книги переводит её в разряд фастфуда (стихотворение «Макдональдс»):

*А пока я торгую с лотка дорогою попсою.
Эта очередь, как в Мавзолей, за едой иностранной
никогда не кончится.*

Так начинается «забвение само» (название стихотворения Леонида Шевченко). Так возникает вопрос человека читающего: «Уже апокалипсис, что ли?» («Вечерние капли дрожат на весу...»). Но главным контролёром «общественного транспорта», то бишь русской модельной библиотеки, не без иронии, но с полной мерой понимания, для Шевченко остаётся Пушкин: «В трамвае Пушкин проверял билеты». Отечественный литературный трамвай — это и Булгаков, и Набоков, и Гумилёв, и Мандельштам. Вплоть до Евтушенко, который безошибочным чутьём отметил стихи Леонида и — единственного из волгоградских авторов — опубликовал в антологии «Строфы века».

*Я с теми,
кто хочет в трамвай влезть,
когда их туда не пускают.*

Стихотворение Евгения Евтушенко «Трамвай поэзии», в приведённом фрагменте явно пародирующее Маяковского, словно предвосхищает трагическую судьбу Леонида Шевченко и всех недопущенных или высаженных не на своей остановке постшестидесятников. Одна строчка поэта тянет за собой и каталог, и картотеку аллюзий. Невозможно не вспомнить тавтологичного насквозь Бориса Поплавского, Леониду явно не чуждого:

*А Гамлет в трамвае мечтает уйти на свободу,
Упав под колёса с улыбкой смертельной тоски.*

Принц датский буквально преследует воображение Шевченко: ведь трагедия создана тоже в 90-х, хоть и XVI века («Какая-то в державе датской гниль»). Не двоящееся, а семидесятисемирящееся (столько кандидатов — 77 — претендуют на его «роль») имя самого не верифицированного и мифологизированного из великих — Шекспира — ставится в характерный ряд: «Один Бог, один Шекспир». Вийоновский «прошлогодний снег» как символ необратимости времени Шевченко трансформирует в строку: «У меня только снег и свобода...». Снег —

аллегория молчания и суверенности. Каждая снежинка независима от других в беззвучном полёте и едина с другими при соприкосновении с землёй. В интерпретации Шевченко смерть и есть «река молчания». У неё нет пола, как на автопортрете Бёклина, или пол блуждает, как парный нерв:

*...в реке забвения, в блистательной реке,
в реке молчания, в реке непостижимой.
Мы были той таинственной пружинной,
цветами были, озером, вершиной
и дикой земляникою в руке,
и я был женщиной, а ты — мужчиной...*

Ощущением единства творения, а не только танатологическим культом привлекает поэта Средневековье. «Волк из Губбио», с которым заключил договор ассизский святой («Франциск разговаривал со зверьём»), выглядывает из стихотворения «Ликантропия».

Что же такое поэтический гений и так ли действительно трудно из-за амплитуды вкусов и предпочтений безошибочно выделить его из сонма соискателей? Причём не просто выделить, а признать и смириться с неотменимостью его присутствия. Нет, совсем не так трудно, если бы не «литература в отсутствие», «культура отмены», действующая издавна и направляющая по ложному следу «культуру применения». Если мы говорим о поэзии, таких признаков несколько. Это глубоко мотивированная и разумно достаточная вербальная насыщенность текста, к которой версификационная умелость имеет весьма опосредованное отношение. Иначе бы Фет, рифмующий «огня» — «уходя», был автором стихов.ру, а не одним из пронзительнейших русских лириков. Мастерство — важный, но совсем не решающий критерий поэзии, в которой всё подчинено не каллиграфии, а чувственной скорописи (или, в более позднем изводе, стенографии), то бишь лирической энергии. Это историко-культурный диапазон поэтического мышления с аллюзивным (подсказывающим) контекстом. Это расчётливое и одновременно интуитивное сочетание традиционных и авторских способов семантической,

фонетической, интонационной и ритмической сочетанности текстовых потоков («Ритмическое баловство, воздействие стиха...» — Леонид Шевченко). Интуиция, по Жаку Маритену, «духовное бессознательное» — движущая сила и одна из сокровенных тайн творчества. Исследование её требует не предисловий, а монографий. Поэтический гений — это соотношение понятийного мышления и вероятностной логики с надпонятийными и внелогическими конструктами. Наконец, это сокровищница авторского словаря. Не только всё перечисленное, но и множество неучтённых — и не учитываемых рационально — моментов повновесно присутствует в поэтике Леонида Шевченко.

И тем не менее повторю: у него не было ни единого шанса ехать в «трамвае поэзии» согласно купленному билету, как писал ещё один певец трамваев Андрей Платонов в записных книжках: «с наслаждением, с покоем радости своей жизни, что всё у него в порядке, всё благоустроено...» Шевченко был природно безбилетен и неблагоустроен. И если уж продолжать линию Платонова, Лёня, как усомнившийся Макар, «решил жить вперёд и безвозвратно», да так и жил. Дело здесь совершенно не в тяге к маргинальному и не в деструктивном поведении. Такому интеллекту, каким он обладал словно бы с рождения, маргинальность должна претить, а что касается поведенческих зигзагов или психостимуляторов, то зажигали его современники и куда пламеннее. И не в вечном нытье по поводу малопечатания проблема — эта жажда неутолима и у издавших десятки книг. И даже ранняя ужасная смерть не убавляет градуса безвестности, чуть понижая температуру безымянности сообщениями в СМИ. «Обречены все люди молодые», — сказал Шевченко. В это не хочется верить. Но приходится.

Солянный миф русской поэзии, где солнце светит всем, но не все отражают этот свет, тоже связан со смертью (закатом) Пушкина и глубоко неслучаен. В основании Солнца положены все ядерные реакции, совершающиеся в ядре — своеобразном реакторе. Солнце газообразно, и его энергия переносится путём перемешивания (конвекции). От этой самой конвекции зависит, какая погода на дворе и куда дует ветер. Если сунуть в реактор палку или подключить насос, конвекция

примет вынужденный характер и реакция пойдёт наперекосяк. Примерно так происходит в литературе, которую, как мамалыгу, беспрестанно помешивают «эксперты» в лице идеологов, когда общество держится на идеологии, или критиков, когда идеология отдыхает. Что делать и как себя вести в этой кухмистерской почти мальчику из литературной провинции, который «вечностью тяжёлой ранен и лёгким мигом утомлён»? Столоваться или помешивать?

Общественное мнение, которое при жизни Леонида ещё худо-бедно существовало, хотя уже плотно зависело от «экспертов», ко времени его становления как поэта свой выбор сделало. Часть коллективного бессознательного предпочла Рубцова, другая, считающая себя много выше первой, утешилась Бродским — «и вместе им не сойтись!». Солнце и противосолнце на одном небосклоне всех устраивали. Оба светила тоже много размышляли о смерти. Рубцов угадал («Я умру в крещенские морозы»), Бродский — нет: Васильевский остров так и не дождался предсказателя. Бодрийяр замечал: «Очарование таится в непредсказуемости происходящих процессов». Непредсказуемость заключалась в том, что ни первый — гелиакический, ни последний — акронический, который обнаруживается после захода солнца, — восходы новых звёзд не состоялись. Так, слегка помаячили — и окончательно угасли. Леонид Шевченко прекрасно чувствовал, сколь надолго затянется этот «период невидимости». Потому и написал:

*Лежать с тобой в одной могиле,
в степи, пернатый слушать крик
и знать, что нас уже забыли
и наших не читают книг.*

Его лирика становилась все классичнее и летальнее, «горячка юная» унялась, «майка "Doors"» изнасилась. Сроки конечных лирических вопросов неотвратимо приближались:

*Был ли я счастлив? Был ли я молод?
Спас ли бесценную душу свою?*

Пушкин «обилетил» пассажира и на этом роковом маршруте: «Желания кипят — я снова счастлив, молод...» (отрывок «Осень»). И если правда, что солнце поэзии нашей напоследок протянуло руку к книгам и попрощалось с ними, значит, в заоблачной библиотеке ему будет с кем попить.



смертники с кофе и чаем



МУЗА ТРЁХ ГОРОДОВ

Сколько раз я уезжал и вновь
возвращался к Музе неосторожной,
и скоро станет моя кровь
водою тёплой железнодорожной.

Орала музыка в поездах,
«Прощание славянки» — перфомэнс бегства,
Она жила в трёх городах,
и первый был город детства —
там росли пальмы и светил магазин,
а в нём — шоколадные гномы и звери,
и круглые сутки играл клавесин,
а Муза была воспитательницей Мэри.
Она показывала через магический кристалл
моря Запада и горы Востока.

Город второй — балаган, карнавал
Венеции или Вудстока.
Там вместо солнца — электрический свет,
там звезда на плечи мои упала,
и плясал Казанова под «Криденс бэнд»,
и Муза наркотики продавала.

А в последнем городе фонарь горел
и освещал больницу, в которой лечился
молодой бог Кришна или пострел
поседевший, с облетевшим венком,

он — изменился

с той ночи творенья. Но почему
он слышал только аккорд мажорный?
И яблоки приносила ему
Муза, одетая в свитер чёрный.

СОН

Мне снился город дальний-дальний,
и трамваи, как парусники, летели,
а на площадях аквариумы стояли,
и рыбы через стекло глядели.
И попугаи перелетали с крыши на крышу,
и палочки Ганга в фонарях горели,
и я знал, что в этом доме живёт Тарковский,
а в том — Набоков, и он пишет книгу.
А в концертном зале играл на флейте
Курёхин, и единорог бежал по снегу.
И я знал, что ты живёшь на этом свете
и в кафе читаешь Умберто Эко.
И я был уверен, что если дёрнуть
за шнурок в прихожей мессира Леви,
то посыплются яблоки величиною
с человека — молодильные и золотые.
Я проснулся среди книг, и они лежали
в беспорядке, и били часы вокзала
за окном, куда-то часы бежали,
и жизнь моя таяла, исчезала.
Она становилась с рассветом меньшей
сестрой и произносила слова простые
в кругу серьёзных мужчин и женщин,
и не падали яблоки золотые.
И её упрекали в том, что без смысла
она провела половину срока
на тех лугах, над которыми рыбы
проплывали в облаках высоко.

И тогда ей приснился город дальний,
мандрагора на окнах, лягушка в бутылке,
остальное никто всё равно не вспомнит
и будущего не нарисует.

ВОЗМОЖНЫЙ ФИЛЬМ

Смертельный день: всё будет очень просто,
качнёшь в ответ больною головой.

В тебя влюблён какой-нибудь подросток
с браслетом гонщика, с цепочкою стальной.

О сколько наркотической отваги
и жизни чуждой в неживом лице!

Он — белокурый современный ангел
с блестящей черепушкой на кольце.

Прижмись к стене в сортире после рвоты;
он что-то сделать для тебя хотел.

Вы рождены для городской работы,
для ежедневных обречённых дел.

Они газеты рвут на части
и проволоку подбрасывают в небеса.

Смотри, убийцы бледные запястья,
мотоциклиста удивлённые глаза.

Плывёт, плывёт квадрат экрана,
Джульетта умерла, она умрёт опять.

Все конечно, но просыпаться слишком рано
и кофе растворимый целовать.

Мы не проснёмся, всё будет очень просто,
вот было холодно, а будет горячо,

прыщавый улыбается подросток
и сплёвывает через плечо.

17 сентября 1997

KOMM, SÜßER TOD

Тень человека, тень его стола,
тень человека, тень его крыла,
тень дерева, тень розы, тень предмета,
тень прошлого — одна полоска света.
Река забвения — ни лодочек, ни льдин.

.....

Хохочет пастор, в классики играя,
садится женщина за этот клавесин,
блок-флейту эту достаёт другая.
Под дудку пляшет девочка в очках,
и муравьи огромные летают,
горит одежда на немецких мужичках,
они огонь баварским заливают.
С кофейником дымящимся медведь
выходит с Телеманом из трактира.
Ты стал моложе — чтобы умереть
и разбросать по комнате клавира
листы причудливые. Время перемен,
итог барочный: астры облетают,
поётся в песне о несчастной N,
её любовника в солдаты забирают.
Её лицо, как в дождевом окне,
под струями навек. Народный театр.
Находит муху пьяница в вине,
кричит религиозный реформатор.
У девушки под сердцем горячо,
и канцлер пишет новые писульки.
Приходит смерть и раздаёт свистульки,

и голубь глиняный садится на плечо.
Орган готов, но староста убит,
на площади не начиналась драма.
Я жил в раю — поэтому горит
под левую лопаткой пентаграмма.
И ворон учит нового Адама,
и на закате плещется Лилит
в реке забвения, в блистательной реке,
в реке молчания, в реке непостижимой.
Мы были той таинственной пружинкой,
цветами были, озером, вершиной
и дикой земляникою в руке,
и я был женщиной, а ты — мужчиной,
угрюмым Иоганном в парике.

РОЖДЕНИЕ ХУДОЖНИКА

Плыл город черепичный, булочный,
на пашню приземлился грач,
и сопляки на узких улочках
играли в обруч или в мяч.

На площади торгаш с селёдкой,
за кафедрой осёл с пером.
Ты был рождён меж кистью жёсткой
и жёлтым мягким янтарём.

В то время братья нидерландские
искали новые пути,
сжимая чётки христианские
от напряжения в горсти.

Европа в будущее пялилась,
расписывал капеллу трус.
Ещё схоластика упрямилась
и Лютер не окончил курс.

10 ноября 1997

* * *

Я пристрастился к мутному портвейну,
а мне бы льва, как рыцарю Ивейну,
а мне бы смерть в далёкой стороне
или чакону на твоей струне.

Моя любовь не знает расстояния
во времени. Серьёзное предание,
ведические вещи, женский плач,
король Артур и ястребок-трубач.

О нет, я не живу в двадцатом веке,
я пьянствую один в библиотеке,
как Дон Кихот в дурацком колпаке
с бутылкой отвратительной в руке.

24 июня 1997

КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЕ ДУХИ

Со мной ненормальный ребёнок-аллах:
«Мы ржавые листья на ржавых дубах», —
со мною могила и баба Астарта,
мы связаны накрепко, маг-вертопрах,
слюной астматической Эдуарда.
Но что бы я делал без этих людей,
без тёмного света и чёрных идей,
без песенки этой, чужой и хреновой,
и без религиозной накидки бордовой?
На дубе зелёном зелёный листок,
но я выбираю химеру с хвостом,
и кровь молодую в походной бутылке,
и ржавчину эту на бритом затылке,
и эту любовь с перекошенным ртом.

* * *

Неужели обычная ломка? Бумагу марать
и бумагу марать, разрыдайся и вновь разрыдайся
в золотые ворота. Измучилась белая прядь,
не спадает на лоб. Разрывайся, огонь, разрывайся.

Я на станции ближней, до станции ближней пути
всё равно что отсюда и шею свернуть, и убраться,
яда не было лучше, и лучше не надо, прости,
я исполнил и роль домочадца, и арию братца.
Там такой оборот музыкальный, не сразу поймёшь,
а поймёшь — так запьёшь одичавшим вином, одичавший
под лопатку вонзается острый приученный нож,
величайшая сила привычки. И город как павший.
Я поклялся, что в городе милом чужие полки,
атаманы, сосущие кровь, эшафоты-девицы,
и священник ночной сторожит над собой потолки,
пропадает продажное мыло, верёвки и спицы.
Доведи до греха, опознай на макушке печать.
От Архангела весточка алым кнутом извивалась,
как вороны сегодня старались на ветках молчать —
так и мне не удастся и, видимо, не удавалось.

КАК МЫ КОПАЛИ ЯМУ

Нас привезли на старых «жигулях»
холодным утром к сельскому погосту,
водитель выдал топоры, лопаты
и лом тяжёлый, три бутылки водки
и бутерброды с салом в целлофановом пакете,
мы сразу выпили по двести грамм.

Сначала было трудно: в феврале
долбать могилу — подвигу сродни,
стоишь, как насмерть, и бросаешь глину
на холм соседний. Выпивали чаще,
рассматривали ржавые кресты:
49-й, 54-й.

Вон мальчику всего пять лет, и он
в одном году с Вождём переселился
в тeneвую область,
и под топодем его
фосфоресцирует как будто силуэт,
ушедшего с какой-нибудь игрушкой,
возможно, с медведем пушистым: здесь
нет никакого шика и порядка,
всё наобум, всё как-нибудь, всё валом —
как жили вместе в проклятой коммуне,
так и застыли со своим железом
в ногах, друг с другом. Нет на свете счастья!
Вот так становишься нетрезвым атеистом,
своими собственными руками продираясь
к началу, к центру, к сути. Вот она,

приятная метаморфоза: легче
становится, как после Шопенгауэра,
не мерься, человек, не фантазируй.
Нет ласточек среди ворон,
гробокопатель не становится поэтом.
«Был Гамлет справедлив отчасти: сон».
Не знаю, кто мне сообщил об этом, —
возможно, мой напарник, у него
глаза светились, словно у Шекспира,
и он промолвил: «Ни войны, ни мира,
и солнца не увидишь своего».

На поминках мы ели борщ,
горячий, словно жизнь твоя, моя.

Я понял: всё — теперь.
Я понял: всё — сегодня.

Жизнь горяча, жизнь горяча, и никому
не сделаться холодным, а потом
опять раздуть огонь в самом себе,
рукой костлявою ломая спички.
Так мы втроём копали яму, яму —
за пятьдесят украинских рублей.

21 февраля 1997

МАКДОНАЛЬДС

Я торговал книжками у «Макдональдса»:
Стивен Кинг, «Голодание» Брега, «Русский народ».
Это было в самом начале моей одиссеи,
ещё Троя дымилась,
в Италию не пришёл Эней
и по радио передавали «Союз нерушимый».

В беспокойное время мы делали нашу карьеру,
кто-то пиджачок английский примерил,
кто-то — деревянный костюм,
кто-то женою убит, кого-то Дидона
целовала в обветренные губы на берегу Карфагена.

А пока я торгую с лотка дорогою попсою.
Эта очередь, как в Мавзолей, за едой иностранной
никогда не кончится. На входе стоят в униформе
белобрысые юноши, девушки с фигурами богинь.
Входят все, но выходит не каждый —
и он изменился,
и лицо у него потемнело,
и волчье сердце
застучало в груди.

Вот, купите, какой-нибудь блеф
на бумаге газетной. Ещё нам с тобой предстоит
выйти с той стороны, где, возможно, серьёзные люди
нам железной цепочкою скрутят загорелые руки, —
и прощальные звёзды украсят причёску твою.

18 августа 1997

ДЕРЕВЯННЫЕ РОГАТКИ

I.

Я видел смерть весёлую во сне,
моей руки натянутые вены.
Меня убило на твоей войне,
эпоха пламени, столетие измены.
Я чувствовал губами: тишина,
хватался за казённые перила.
Ушла под землю сумасшедшая страна
и мальчику костяшкой погрозила.
Меня сожрёт бессмысленная боль
в походе вечном, в туристической палатке.
Два школьника пострижены под ноль,
и наготове деревянные рогатки.
Они подстрелят чайку и стрижа,
они состарятся, но это — их работа.
А ты болтаешь, что славянская душа —
загадочное и возвышенное что-то.

II.

Я помню всё, в особенности лето,
бескрайний пляж в начале дня
и волосы твои — восьмое чудо света,
а первое — погибло для меня.
О пляжники живые — дети, жёны,
загар крутой невечных тел!
Пошли на дно столичные пижоны,
директор санатория сгорел
от водки. Только никому не больно,

поговорим о чём-нибудь другом.
Мы — семиклассники, и этого довольно
для Хроноса с блудливым языком.
А никому не больно и не жутко.
Я вспомнил всё: и улицу, и дом,
твою мальчишескую импортную куртку
и «группу крови» на брелке твоём.
Мы — семиклассники, мы сделали сильнее,
мы целим в звёзды, а не в голубей.
...Вот день, который вечности длиннее,
короче жизни, истины страшней.

22 сентября 1997

LOVE

Мы набили стрелку на могиле Оскара Уайльда
на кладбище Пер-Лашез.
Мы с тобою торчали в таком мета-Мухосранске,
и в алкогольной таре барахтался провинциальный бес.
Говорят, что скоро кончится аренда
на землю у Джима и скоро его
перетащат французы на другие огороды.
Наш секс — и больше ничего и никого,
а в Париже шастают годаровские шумерские
интеллектуалы, старухи и старички.
Мы теперь — молодые пенсионеры,
и на тумбочке — пепельница, таблетки, очки.
Мы встретились в Париже, где
отключился шар Вальехо
и Аннабель не врубила на кухне
парижский газ.
И я не забуду твоего противного смеха
и твоих идиотских глаз.

ВАЛЬС ЦВЕТОВ

В детстве ему поставили на проигрыватель «Вега»
эту пластинку — и он представил
композитора, пляшущего в платке в горошек.
Теперь всегда ему играл
только «Вальс цветов».

Когда он обнимал Анюту, духовая секция
сопровождала их несчастный небесный путь.
Когда он мчался в поезде и перевозил
японские телевизоры из Москвы в провинцию —
«Вальс цветов».

Когда его пристрелили на войне
и он умер — «Вальс цветов».
Он что-то хотел сделать и что-то постичь,
а «Вальс» гремел, не щадил
ни ушей, ни стёкол.
Это придумал Чайковский Пётр Ильич,
и Щелкунчик чёртов зубами щёлкал, щёлкал.

И в кровавом снегу, где лежали
люди, как трупы, и трупы, как люди,
продолжали распускаться
розы, гладиолусы, пионы.
Торжество классики — и вся жизнь.
Любопытно,
какие цветы для меня распустились?

12 сентября 1997

* * *

Я обнимался с девушкой хромой.
В соломе спал, блуждал в тумане.
Я шёл домой — и не пришёл домой
из Палестины, с фиником в кармане.

Я грелся у голландского огня,
я пел баллады ветреной весною.
Кто знает жизнь — тот не поймёт меня,
кто знает смерть — не встретится со мною.

Вот капли пота над моей губой.
Вот капли крови над моей губою.

И вольный каменщик за праздничным столом,
когда идёшь под барабанный бой
эпохи — с непокрытой головою —
невольно заслоняешься крылом.

7 октября 1997

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Взлетать с поверхности стола
золою или паутиной,
носить на шее клык тигриный
и продавать за рубль длинный
в универмаге зеркала,
когда поэзия была
ещё соплячкой и бродяжкой...
Какие странные тела,
и мальчик над железной чашкой,
и ты выходишь на балкон,
клянёшься тьмою и могилой,
но я не птица, я — дракон
чешуйчатый и многокрылый.
Не паутиной, так золой,
монету, а не клык тигриный,
и продавать за доллар длинный
на рынке обруч ледяной.

СОНЕТ

Всё начиналось и кончалось летом:
наркотики, троллейбусы в росе.
Мне нравился Ромео с пистолетом,
Джульетта с фенечкой, Меркуцио в джинсе.

«Все спящих видели, никто не видел сонных».
О мир роскошный, солнечный каприз
и план великий, общество бездомных,
горячка юная и майка «Doors».

Чертёнок прыгает из фотоаппарата,
и продаётся газированная вода.
Как поезда, которым нет возврата,
уходят девяностые года,

и в курточке из секонд-хенда в ночь
бежит обдолбанная Капулетти дочь.

13 октября 1997

* * *

В твёрдом найти нелегко переплётё
«Гамлета» с видом на берег морской,
я на земле, на растерзанной ноте,
с городом чёрным и чёрной тоской.
Летних построек разбитые чашки,
власть переменчива, словно пурга,
и лицеисту приходится в шашки
резаться с демоном ночь до утра.
Разве в стекле твоего кабинета
не отражались иные миры?
Жадная, слишком слепая планета
властной цингой полегла на дворы.

Дельвиг! Когда бы тебя искушали
злые собратья с крылами во тьме —
что бы приснилось? Мы просто устали,
холодно морю и холодно мне.
Я прихожу, или путник кромешный
рыщет в комодке руками рубрах
в час незабвенный, в час безутешный
с красным цветком на зеркальных губах.

* * *

Мой Шекспир, опрокинулись в воду церковные клумбы,
эти дни убывают, и словом оплавлена соль,
под иную фанеру усопшие рвутся Колумбы,
обижая немецких овчарок, не зная пароль.

Словно Гамлет, сказать над рекой: «Отче наш бездыханный,
как признаться тебе во грехах на исходе тепла,
если каждую облачность — обморок рванный и странный
и другая отчизна со мною невестой была?»

Словно Гамлет, сказать над рекой: «Утешительны слёзы,
но приходит ненастье и мнётся в ладонях фарфор?»

Получается осень мольбою от маленькой дозы,
получается дело, как было, — позор и позор.
Нелегко молочаям хранить за заборами губы,
и осеннее небо насыщено хладом и рвом.

Мой Шекспир, опрокинулись в воду церковные клумбы,
обескровлены чашки, и горло в стекле лобовом.

Как тебе объяснить, почему от ветвей засыпая
объясняются люди в любви православным домам?
Опрокинуться в воду, да, видимо, гордость тупая
и погоня дворовая галок по свежим следам.

* * *

Стучат монеты, кости, спички,
на Лобном месте ночь и турки.
Полупустые электрички
катают в тамбурах окурки.
Ты обернулась и сказала,
про долгий-долгий путь сказала —
от Ярославского вокзала
до Ярославского вокзала.
Всего пятёрка — эдельвейсы,
смеются головы с помоста.
Платформа — справа, слева — рельсы.
Лосиный остров-полуостров.
Ты обернулась и сказала,
про долгий-долгий путь сказала,
что от Арбата до Арбата,
от Ярославского вокзала,
от Ярославского до прозы.
А у кремлёвского солдата
в шинели путаются слёзы.

1990

* * *

Редко в полдень встречаются смертники с кофе и чаем,
вот мы встретились снова и небо земное встречаем.
Надвигаются прямо на нас облака земляные,
посвистишь во гробу — и полоски полюбишь льняные,
восковой поцелуй.

У Пьеро пожелтели сосуды,
на гранёный стакан отпечаток знакомой посуды
осторожно ложится, и тени меня примечают,
говоря напоследок, что здесь небеса означают.
Молча, молча кофейный наглец предлагает убраться
в темноту «Букиниста»,
где книги сестрицы и братца.

Убивали в Крыму, но листки пожелтели в столицах,
и на лицах земля проступила, и кровля на лицах.
Там у дома, которого не было раньше и позже, —
холодок по цепям, доводящий Петрушку до дрожи.
Но Петрушка!
От ярмарки разве шары почернели?

Словно крупы и трупы, весь вечер мосты коченели.

ЗАБВЕНИЕ САМО

Сидели, пили, хавали котлеты
забытые историей поэты,
а во дворе на золотых коньках
катался мальчик со свечой в руках.
Стояли женщины на маленьких балконах,
болтали критики за шахматной игрой,
на четырёх слонах, на двух драконах
въезжал какой-то классик мировой
в бессмертный город. Мускулистый Маяковский
в кафе бессмертным ангелам хамил,
лепил снеговика Корней Чуковский,
и Фогельвейде трубочку курил.
В трамвае Пушкин проверял билеты,
и кто-то пел с пластинки о любви,
сидели в тёмной комнате забытые поэты
и перечитывали сборники свои —
там бабочек ладонями ловили,
там гладиолусы возлюбленным дарили,
ходили на индийское кино
и разливали красное вино.

* * *

Премьер долгопродный, бульварный — под стать лицеисту,
погашенный фрак — как ломбарда призывный флажок,
коль скоро ненастье и холодно Ференцу Листу —
звучи, долгожданная песня, и бейся в снежок.
Времянка разрушится вскорости, громкая смута
в ладу семизначном взойдёт к наступлению фраз
о жизни нездешней, и кровью нальётся цукута,
глуши промедление, если фонарь не погас.
Фонарь не погас.

Ради бога, лицо медальона
не прячь за премьерским плащом, не смотри на меня,
за нас расквиталась душа золотого бульона,
кабак заторможен — и мясо не просит огня.
Княгиня распутицы входит, она безучастна
к страданиям ближних, за крест полагается крест,
на ангельском вечере тёплая чаша несчастна,
стучат в мимолётные двери — болванка, арест,
по улицам, улицам, улицам хлада и мора
в резном окоёме мелодия хины бредёт,
слепой эскадрон в поднебесье уйдёт от позора
биением сабель о голову царских ворот.
Столица — простая воровка подкупит злодея,
спасётся, и снова спасётся, и снова во мгле,
и маленький труп на заре, от листвы холодея,
промолвит, как мёртвые молвят: опять на игле...

МАЙСКИЙ ЖУК

Тот майский жук, который к нам на свет
влетел в окно и крылышком железным
стучал о блюдце, — через столько лет
я увлечен воспоминаньем бесполезным.

Прилипли звезды к летнему плащу,
и сказано решающее слово.
Я следую традиции — ищу
какого-нибудь смысла неземного.

Вот жизнь подпольная: Осирис без руки,
Исида пьяная, алхимиков рецепты.
Быть может, все стрекозы и жуки —
участники мистерий и адепты,

живущие в Египте на паях,
дающие бессмертие ребёнку,
о них ещё Платон писал в статьях,
их Пифагор снимал на киноплёнку.

Они работают в подземной мастерской
и выполняют план по эликсиру —

.....
тот майский жук, который в выходной
влетел «случайно» в дачную квартиру,

что он сказать о будущем хотел?
Какой советовал перечитать двухтомник?
А небосвод над Волгою горел,
футбольный матч транслировал приёмник.

ОТЪЕЗД МАГИСТРА

Стеклянная сфера двоилась, вращалась,
виола да гамба с магистром прощалась,
босой человек выходил на каток.
Виола да гамба прощалась, играла,
и ягода волчья в кувшине стояла,
жуки-скарабей жевали песок.

Дорожные вещи: флаконы, перчатки,
стучали копытами злые лошадки,
мелькали селения и города.
Магистр летел под прикрытием тумана
за синее море, за два океана,
в Лапландию, в Гиперборею — туда.

Но долго виола да гамба звучала,
собачка плясала, корова мычала,
кальян очарованный странник курил,
индийский факир торговал пирожками,
дебильные дети бросались снежками,
и маленькой тростью прохожий грозил.

ЛЮБОВЬ

И. Б.

Ни словами, ни малой кровью.
Ни за век, ни за полчаса...
Мне приснилось моё безумье
и твои молодые глаза.

Это было когда-то, где-то,
я ещё сигарет не курил.
Я тебя потерял из вида
и, казалось, давно забыл.

Это было при прошлом режиме,
это было за той чертой,
где одной мы свободой жили,
иллюзией, правотой

и не чувствовал я одышки,
и не шёл мой камень на дно,
мы читали полезные книжки
и снимали своё кино.

Я не чист ни душой, ни телом,
бьюсь, как раненый голубь, лбом.
Я любил тебя в платье белом
и теперь полжюблю в любом.

Где вы, ангелы, хиппи худые?
Где же ты, серафим-стрекоза?
Мне приснились твои молодые,
молодые твои глаза.

24 марта 1997

* * *

Я снова проснулся, и лёд почерствел,
на днях обещали подмогу,
дырявые дали, растерзанный мел,
у класса второго немыслимо дел —
уйти гренадёрами к Богу.
Атака, а штык никому не внушён —
а явлен панамой героя,
венок на могилу, и звон разрешён
старинного странного строя.
Но первая ласточка к небу летит,
а я, повинувшись свеченью,
как будто надеюсь, что смертью убит,
школяр наблюдает с тревогой карбид,
впервой доверяя ученью.
Дурак, что искал за монету приют,
ночлег выдаётся бесплатно,
бесплатно на склонах фуражки гниют,
уже возвращаясь обратно
туда, я не знаю куда, никуда.
Молиться? Молись с простотою
ворюги, мерзавца. А сверху звезда
меня отвергает. И ранит вода
российской своей пустотою.

* * *

Мой старый бог, мы так с тобой унылы
на глади вод, уснувших алых вод.
Смотреть на юг — как движутся могилы —
темно, легко, и всё наоборот.

Февраль-преступник пляшет односложно
на пустоте, костяшками звеня,
и посмотреть на профиль невозможно,
где проклят я и не найдут меня.

О было раньше, слышалась молитва,
о было раньше — глухо прерывать
своё дыханье. Маленькая бритва
ушла под землю. Скоро умирать.

То жив жилец, то осень безобразна,
во рву зацвёл последний лепесток,
веди меня, печаль, однообразно,
куда я сам добраться бы не смог.

Вода моя — трёхстишье листопада,
и так тепло, и смотришь на птенцов,
и будь со мной, и говорить не надо
о той земле в заплатах мертвецов.

ИЗ ПОВЕСТИ В СТИХАХ

...ещё асфальт от крови не остыл.
Не забывай красивую и молодую.
Не спрашиваю, кто тебя убил,
а только волосы твои целую.
Не забывай страну с беззубым ртом,
унылую многоэтажку
и абсолютно чёрный Белый дом,
тюремный дождь и милицейскую фуражку.
Меня зовут, потом тебя зовут,
играют домбры, и стрекочут ложки,
бим-бом, бим-бом, часы двенадцать бьют,
два клоуна хихикают в ладошки.
Наш праздник — в облаках, в воде, в земле,
в ермолках, в кепках, в платыхах походных,
и Гурченко порхает на метле,
несут пирог весь в розочках загробных,
официальное лицо
в аэропорту встречает делегацию хлебом-солью.
Твои шаги — плащ, брошка и кольцо,
кольцо и брошка, плащ...
Все спят, и семьянину снится Троцкий
с рогами, жене — Кобзон,
а мальчику — перочинный новый нож,
старухе — человек, который вышел
с верёвкой и с мешком из дома, — нет,
никто не думал засыпать, всё наяву.
Не наблюдатель, а, скорее, современник,
не провожающий — скорее, проводник...

В одном мы танце кружимся, в одном
живём сыром заброшенном подвале
«на болоте у самого краюшка...»
Один Бог, один Шекспир, одна
луна над бритыми затылками, и мандрагора
под нами пышно расцветает. Аминь.
Как разболелась голова —
глаза откроешь: кладбища и рощи,
кругом одна полынь-трава,
степь безнадежная, сельскохозяйственные кущи,
далёкий трактор, близкие столбы,
штормовки ветеранов одноногих,
татарские названия судьбы
на станционных зданиях убогих...
Или как было: душный коридор,
ночная откровенная работа
и длинный разговор —
чёрт ногу сломит, чеховская нота —
на детских стульчиках, с мотором в голове...
Полынь-трава и девочка в траве.

* * *

Теперь зимую я, друзья, поближе к милому пределу,
в моём мешке и скверный чай, и запах хвои неживой.
Я сочиняю свой роман, а солнце клонится к закату.
Четыре стороны дождя и пять свечей в одном ряду.
Коль не забыли вы меня, так не забудьте ровно месяца,
вполне достаточно, чтоб всласть в родных пенатах поплутать.
Когда-нибудь я расскажу, какие здесь бывают грозы
и сколько странных мелочей случается в пустом лесу,
когда утихнут птицы в нас, и крылья станут ледяными,
и кто-то скажет: пусту быть. И быть не быть — уже пустяк,
зачем о родине тужить? Она занесена снегами,
косарь, косарь, а где моя седая голова и дом?
Так живы будем — не помрём, а что не так — опять изнанку
до новой смерти теревить и повторять, что вечер мглист.
Вы были пьяны и вольны, а я всю жизнь любил цыганку,
пока смеркалось на земле, пока летел кленовый лист.
И он летел, куда летел, куда смотрел апостол Павел,
куда чужая благодать ушла, прошла — и полдень бел.
Я эту жизнь переболел и что оставил — то оставил.
Куда летел кленовый лист? Куда кленовый лист летел?

ВОЗМОЖНО, ТАМ КАКОЙ-ТО РАЙ

ГАЗЕТА

Каждый день
ты открываешь эту газету и читаешь
о смерти за ужином, каждый день
ты ужинаешь со смертью. И дым
выстрелов обволакивает твою яичницу и
холодную котлету.

«Бензиновый бог
получил от водочного чёрта
пулю в затылок; продавщица Анюта
бросила Ф-1 в своего директора,
младенец выпал из коляски
под “опель” торговца игрушками».
Какая малость
необходима уроду для жизни —
прервать чью-то жизнь на бумаге
за чашкой говнистого чая «Пиквик».

Я сам
сравниваю с тобою в убийстве
картонных людей. И так
проходит одна тысяча девятьсот
девяносто седьмой год, и его младенцы
тормозят иностранные тачки
своими ручонками,
и газета шуршит с кровожадным
лицом генерала,
и в твоём микрорайоне пьяный бандит
стреляет в луну из бесшумного пистолета.

16 октября 1997

ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ

Вот грустный век расплаты, ремесла
проклятого, интернетовского счастья,
где след потерянного поколения
обнюхивает бульдог,
и журналисту снится Ад бескрайний,
он делает движение во сне,
как будто хочет закурить, в огонь
его бросает силовое поле,
и диктофон пластмассовый горит,
и плёнка плавится — ты сделал мир ясней,
когда писал о террористах узкоглазых,
о смерти двух любовников, о жестоких
коротышках циркачах, о вспышке гриппа,
о мрачных затопленных подвалах
и убитом накануне футболисте,
который промахнулся. Что до слова,
то все твои слова — убийцы, в ночь
тебя ведёт на лодке респондент Харон,
затянутый в армейский камуфляж,
и квакают аристофановские лягушки,
ты видишь современников своих
у входа в город из исландской «Эдды»,
где нет водопровода, и кассир
не выдаёт билета, не играют
черновики-взяточники в покер, и подросток
не начинает мировой войны
одной лишь клавишей и в министерстве обороны
не пьёт из рюмок молодую кровь,

но тот же воздух трупный и горячий —
и это твой последний репортаж.

23 июня 1997

РАЗГОВОР НА ПЛОЩАДИ

— Абрам, ты слышал, умер Теофраст?

— Да нет, не умер, пьяный Гиппократ из Нюрнберга с дружками взял его за шиворот и раза три ударил о камень головой. Так кончил он.

— В трактире «Белой лошади»?

— Конечно.

А что у вас? Как сифилис?

— Его

мы лечим кровохарканьем и мёдом,
Помажем здесь, помажем там, потом
прижгём, как говорил Альберт Великий.

О Парацельс, двуногий человек,
Микель-Анджело янтаря и мяты,
алхимик добрый, где они,
родные берега и голубые рощи,
где мы в пятнадцать юношеских лет
на водопой гоняли лошадей,
— там рыщут современные хирурги
и стоматологи на дереве живут!

19 декабря 1997

* * *

Люди, которым я доверял,
женщины, которых любил больше
других женщин, — уходят в прошлое,
а я и не знал, что прошлое так близко,
я думал, до него лет пятьдесят, не меньше.
Я сам уже стал бесхитростным экспонатом,
клавикордом, — и я иногда
играю в ансамбле старинных инструментов,
и критики в первом ряду,
блестя золотыми оправками,
снисходительно улыбаются.
Но тогда мне хочется взорваться, как бомба.

АПЕЛЬСИНЫ

Он работал в средней школе
и писал стихи под Лорку,
а потом пришла разруха
и его подсократили,
сам директор в чёрном фраке
с белой розою в петлице
выдавал ему конвертик
с мягкой книжкой трудовой
и с картонными деньгами.

А потом его схватили
в булочной карабинеры
и в подвале расстреляли,
и посыпались внезапно
в этот день на этот город
молодые апельсины.

Их сначала собирали
дети и домохозяйки.

И директорский водитель
кушал эти апельсины
и в роддом жене носил
в целлофановом пакете.

И писали все газеты
о природном катаклизме.
Всё засыпало плодами:
и вокзал, и банк, и школу,
площади, автомобили —
и убило апельсином
одного корреспондента.

И стоял директор школы
с зонтиком и чемоданом.
Это будет жизнь другая,
апельсины, апельсины.
Это будет наваждение,
миф, контрольный выстрел
в сердце, это лошади,
медведи, это будут
в средней школе выпускные вечера.
Мы пойдём с тобою вместе
в лёгких платьях, с аттестатом
и с бутылкой лимонада,
в самых длинных пиджаках,
с апельсинами в руках.

* * *

Мы вышли из чёрного парадиза,
и что-то там произошло потом,
а на плече твоём — ручная крыса,
паук весёлый на плече моём,
паук весёлый. Почему не птица?
В начале этого, а не другого дня?
Стеклянные двоящиеся лица
из прошлого смотрели на меня.
Вставные челюсти, неполные стаканы,
во лбу кондуктора голубоватый глаз.
В песочнице сидели истуканы,
в лото играли, материли нас.

ТЁМНЫЙ ПУТЬ

...А третий убийца был больно похож на Де Ниро,
губы у него не дрожали, а у других дрожали.
И кто-то сказал: «Удивительно громкое эхо»,
а всё потому, что такая, мол, эпоха.
Вот жизненный путь: школа, секция бокса, мопед,
перестройка
и служба в частях пограничных, потом — контора,
поездка в Москву, закупка каких-то продуктов
и голос Булановой Тани на мусорном пляже.
...Проклятое время, поэтому громкое эхо,
а всё потому, что такая, мол, эпоха...
Рукой прозрачной касаясь горячего лба,
он стал невидим для посторонних.

30 мая 1990

* * *

Вечерние капли дрожат на весу,
горит в полумраке фонарик,
как странные ангелы, козы в лесу
идут, поедая кустарник.

Попробуй когда-нибудь чудом усни —
увидишь, как козы гуляют,
но съедено всё — улетают они,
тоскливо они улетают.

И всё, что случилось, бормочется вслух,
и облачность дышит ненастьем,
а где-то ещё притаился пастух
с улыбкой и тонким запястьем,
и он улетает, и смотрит вперёд,
не помня в небесной юдоли
их белые крылья, их вмятый уход.
Уже Апокалипсис, что ли?

РОЗОВЫЙ КЛОУН

Ребёнка качают большие качели,
птица в небе плывёт.

Мужчина играет на виолончели,
женщина поёт.

Воздух прозрачный соснового бора,
ковёр азиатский на тёплой земле,
чайные чашки из мельхиора,
живые кузнечики на столе.

Клоун розовый — Бим или Буба!
Больше не будет зимы никакой,
не пригодится отцовская шуба.
Вечный чай и покой!

Просто мы умерли, просто ослепли.
Взять на колени тебя, взять?
Розовый клоун, душечка светлый,
я ничего не хочу объяснять!

КУКЛА

Заводную куклу завели,
и она пошла, заговорила,
гости пили, девочка курила,
ёлку новогоднюю зажгли.

А заводная кукла шла и шла,
денежку нашла,
самовар купила,
гости пили, девочка курила.

Кукла заводная, заводная,
бабушка плясала молодая,
умирающий дедушка с курительным прибором
ангелов развлекал разговором

об устройстве самогонного аппарата,
о погоде, о садах Багдада,
как в атаку он ходил когда-то,
как в него стреляли из засады.

Заводная кукла шла и шла,
денежку нашла
и купила на базаре самовар.
В тёмную комнату вползал кошмар.

У него большая голова,
у него на голове трава.

У девочки курящей за спиной
ключ огромный, ключик золотой.

ПЕЧАЛЬ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОШИБКИ

Какой-то сон не очень длинный,
где все мужчины в пиджаках,
а девушки с фиалками в руках.
Вот что осталось от любимой:
безделица, пустышка, прах.

И я проснулся до рассвета,
а мог погибнуть и сгореть!
Я закурил. И сигарета
была безвкусная, как смерть
второстепенного поэта.

Тогда я опускаю руки,
не помня волосы твои.
Вот метафизика разлуки
и философия любви,
виолончели прошлой звуки.

Мужчинам — крепкие напитки,
а сёстрам — ландыши весной.
Я не сдержу своей улыбки
угрюмой, обречённой, злой.
Но раздели и ты со мной
печаль торжественной ошибки.

20 апреля 1997

РЫБЫ-ПТИЦЫ

Как много света и серьёзных лиц,
обречены все люди молодые.
Они ещё не превратились в птиц,
не вытянули клювы восковые.
Их обнимают злые города,
их волосы под снегом или ветром,
а впереди несчастная звезда
взошла, играя обморочным спектром.
Я вижу то, что не увижу вновь:
на человеке вспыхнула одежда.
Постой, моя последняя любовь,
моя рыжеволосая надежда.
Как много света в небольшом саду,
прощальных слов и медленного гула.
И я уже забыл, в каком году
меня, как мальчика, в бараний рог согнуло.
И мы вошли с тобою в кинозал,
чтоб нам механик правду показал,
и прошлое осталось за чертою.
Нет, мы не птицы — в глубине реки
нам длинные заточат плавники
и наградят великой немотою.

11 августа 1997

ЛИКАНТРОПИЯ

Влюблённым — море, влюблённым — срок,
влюблённым — лесной смех.

Он умел выть, как волк,
и шею вытягивать вверх.

Электричка кричала в сентябрьском дыму,
птица стучала крылом.

«Мой волк, — она говорила ему, —
пойдём на высокий холм

и там посмотрим с высоты,
какая выше звезда».

Но не было ни одной звезды:
полная темнота.

Ушёл на север чёрный паром,
из оврагов поднимался пар.
Франциск разговаривал со зверьём,
лежал в траве Абеляр.

Грибник заблудился в своём лесу,
масон потерял мастерок.
Но можно было ещё к лицу
поднести последний цветок.

До рассвета осталось два часа,
но не смял органист кровать,

и можно было ещё в глаза
растения целовать.

«О пропасть жизни, дикий сад,
железные соловьи!
Где мы встречались лет пять назад
и шкуры снимали свои».

Они подростки — они — в веках,
они — под волной реки.
И шёл Иегова, держа в руках
ромашки и васильки.

23 декабря 1997

ВЫПУСКНАЯ БАЛЛАДА НА ТЕПЛОХОДЕ

На теплоходе под луной,
под жёлтою луной,
и праздник выпускной шумел
над волжскою волной.

А в дискотеке до утра
«Бэд бойс» или «металл».
Шёл самый переломный год,
но кто об этом знал?

Мария и Андрей! Когда
вы дёргались под рок,
кто положил предел всему?
Кто обозначил срок?

Никто не сделал ничего
достойного — учти, —
и автоматчики в горах
не целились почти.

И я на теплоходе плыл,
куда — не помню сам,
возможно, там какой-то Рай,
освобожденье там.

Где я слова произношу:
«прости», «люблю», «вернусь»,
я лишь позирую векам,
о вечности пекусь.

Ритмическое баловство,
воздействие стиха —
Мария, я вернул тебе
любовь и жениха.

Но если б я умел миры
лепить из ничего,
я сделал бы волной тебя —
и чайкою его.

29 января 1997

давным-давно в одной стране

РОССИЯ

Калужский мальчик не умрёт от СПИДа,
твоя душа не сгинет в лопухах, —
сестра моя, невеста суицида,
целуется с подростком в лопухах.
Пришла весна, оттаяли кашки,
в лесопосадке загрустил маньяк.
Ищи меня на той пятиэтажке,
вручай скорее крестоносный флаг.
Возможно, мы увидимся в Рязани,
в какой-нибудь лузге — наверняка.
Возможно, мы расстанемся в Казани,
у злого музыкального ларька,
на кладбище и у ночного клуба,
у мэрии с эмблемой змеи,
и будут уменьшаться наши губы
и гадить голуби на волосы мои.

* * *

Мне смешно — рикошетом сменяются дни,
и убраться не все захотели,
в полутёмных мирах макароны одни
от рождественских слов околели.

Атрибуты молитвы — стоянье в глазах —
в рукавишных цепях — образуют —
наконечник, который и молот и страх,
и свинцовые трели пируют.

Под рассвет обязательно свяжется плоть
или плотью замкнётся пирушка,
я войду помертвев и печаль побороть —
у покойника вспыхнет подушка.

Мне смешнее — на кляксах, на шторах, в пургу,
и в комету я Бога не слышу,
а пасхальную птицу запомнить могу,
продвигая за преданность крышку.

Благородный мой немец, ты нем и восстал
не напрасно в напудренной драме.
Скрипачи перетёрли финалом кристалл,
и вельможа рассеялся в раме.

ИЗ ЦИКЛА «К ОСВОБОЖДЁННОМУ ИЕРУСАЛИМУ»

Она звучала над базарами,
над тьмой продажной, как в кино,
возможно, мастерами старыми
она написана давно,
мелодия. Весь мир — пародия,
весь этот современный дух,
но возвращаются животные
и с ними маленький пастух

в село своё с печальной верою,
смеётся оборотень-кот,
и Дон Кихот читает Мелори,
летит прекрасный Ланселот.

Из города спешит туманного
Горацио без парика,
и Фауст только что бездарного
в сердцах прогнал ученика.

25 декабря 1997

1932–47 ГОДЫ / РАДИ МУЗЫКИ

I.

Дистрофики под раздражённым Богом
с бутылочкой святой воды.
Учительница с маленьким ребёнком
среди подсолнухов и лебеды.

Разбойничьи берёзы, ивы страха,
в мешке на всякий случай, про запас, —
два помидора, ноты Баха,
матрешечный артельный Спас

с картонными глазами. Под гармошку
на площади свежо перед концом.
Подайте ради музыки лепёшку
сырую с малосольным огурцом.

Есть молоко у коммуниста Феди,
вы спасены, а смерти нет,
а девочка научится на флейте
играть «Орфея» через десять лет.

II.

В будущее падать птицей,
поступить на военный завод.
Будешь лучшей ты ученицей:
граната, патрон, пулемёт.

Просыпаться слишком рано,
заготовку долбать, потом
брать уроки по фортепьяно.
Эти клавиши, этот дом!

Дом искусств! И Чайковский в раме,
этой Музы торопливый суд!
Ничего, я сыграю маме
самый сложный этюд.

Ну а дальше — не вальс, не полька,
не разлуки походная медь,
только первый концерт, и только
это — поле, подсолнух, смерть.

III.

Не умереть и стать артисткой
или работать, например,
экскурсоводом, пианисткой
в гимназиях СССР.

Мужчина глупый и высокий
поддерживает разговор,
орденоносец одноногий
и неуклюжий ухажёр.

Осенний и дождливый вечер,
пластинка дохлая шипит.
В перчатках Моцарт — изувечен,
контужен Гендель, Лист — убит.

Любитель строгого искусства
в военном кожаном плаще,
академические чувства
ты воскресил в моей душе.

Играй ради живого звука
и помни: ангел на посту —
успели из блокады Глюка
перевезти в Алма-Ату.

1953 ГОД

Сопливый школьник. Белый голубь с ним
ручной. Баржа или ладья Харона.
Одной привязанностью меньше и одним
восточным божеством из пантеона.

В посёлке у канала никого.
Все по домам, и зеки отдыхают.
Отец натягивает серое пальто,
и радиотарелки оглушают.

Стоять в воде или ловить мальков,
расправить крылья чёрные удачи.
Скрипящие ботинки Маленков
суёт под мышку на московской даче.

Хозяин дремлет, открывает глаз...
Пойдём в кино с тобою в воскресенье.
Но самый лучший преданный из нас
не сможет рассчитаться за спасенье.

Сопливый школьник золотым ключом,
как итальянец, открывает двери,
он вырастет и станет главврачом.
Какие фантастические звери
его найдут и спросят! Но о чём?
О том, где был ты в это время года,
когда трещал фальшивый Колизей,
когда с рабочего большого парохода

тебя увидел хмурый Одиссей,
когда боролся новый Моисей
с последним, может быть, врагом народа.

* * *

Был Бог, и был казнённый сад,
и ангел в небо поднимался,
четыре праздника подряд
пожар цветочный оставался
в пустой посуде октября,
пустырь напоминал окрестность.
Был Бог, и говорилось зря
о том, как манит неизвестность.
В мечтах, в сосудах, в далеке
рождались странные детали,
то глаз метался в молоке,
то швы пробирок хохотали.
Затем неясный перезвон,
последней вербы завершенья
и адских сумерек озон,
вошедший в стук стихосложенья.
Я ждал — и было чем платить,
но тёмный всадник Богом не был.
Я ждал, и приходилось жить,
спокойно озирая небо.
Но, заходя в свою метель,
я понимал, что час назначен,
и разбивало колыбель
о гравий. Брошен и утрачен.

Проситель в суетном пальто,
ночлег под самый понедельник.
Ты — белый, белый, ты — никто,
ты — Бог, ты — мученик, ты — мельник!

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО — 75-й ГОД

Младенчество, предчувствие разлуки.
Ноябрьский великий выходной.
Нас поведут ещё под белы руки
лиса Алиса и Базилио слепой.

Они сидели на вонючей кухне,
сушили арестантское бельё.
Они покажут деревянной кукле
всё будущее хитрое своё.

Но кто оставил в гардеробе «польта»,
кто загадал последний час?
Что стоит жизнь? Всего четыре сольдо,
и ангелы не отводили глаз

от города, где празднуют злодея,
трёхцветный поднимают флаг.
Ты был достоин приключений Одиссея,
но получил Пиноккио башмак.

Ты знаешь, как горела древесина,
какая гибель целовала в рот.
Стоит Пьеро седой у магазина
и тару алкогольную сдаёт.

Он помнит хлыст садиста-режиссёра,
в его руках тяжёлая зола.

А что твоя девчонка из фарфора
богемского — она не умерла.

15 ноября 1997

МУЗА 80-го ГОДА

С лёгкой дудочкой, с гибкой пастой
ты пришла — с потемневшим лицом.
С олимпийской эмблемой глазастой,
с чёрным знаменем, с медным кольцом.

Душа уходила из тела,
затаив обиду свою.
О, как ты на меня посмотрела
и убила надежду мою.

Вот классический жребий поэта:
удавка, холодный смех.
Я запомнил жаркое лето
и спортсмена, взлетевшего вверх.

Футболисты давно устали,
гимнасты давно ушли,
а твои золотые медали
опасны и тяжелы.

То ли смерть, то ли завтрак бесплатный,
то ли чей-то пронзительный взгляд.
До свиданья, медведь кровожадный,
но не вздумай вернуться назад.

Дача, Волга, чайка, болонка.
Всё мне чудится: ты — девчонка.
Это было год назад.

А теперь государственной мощью
ты пьяна — и обойдётся без слов.
Только самой искренней ложью
я с тобой поделиться готов.

Мы умрём бестолково, обычно,
разобьём наши губы в кровь.
Вот мы смертны, а ты безразлична
и любую попробуешь кровь.

Найдёшь храбреца и труса,
танцора или чтеца.
Я прощаюсь с тобой, Муза,
но поднять не могу лица.

18 августа 1997

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 80-х

Шашлык и кооператорские футболки,
значок «Metallica», продавцы икон —
всё это уже миф, осколки
какой-то жизни, навязчивый Рубикон.

«Утренняя почта», одноклассники-ублюдки,
секция дзюдо, трамвайное кольцо,
и ты идёшь в турецкой куртке
в будущее, прикрывая лицо.

Отрастишь волосы, прогуляешь школу,
отпустишь в вечность воздушный шар.
Конец 80-х — начало шоу,
Тото Кутуньо и Пьер Ришар.

Объясни, ангел, что значит «свобода»,
подростку, поцелуй его через порог,
выходит пластинка «Вкус мёда»,
«Модерн токинг» приезжает в Совок.

В Волге июльские купанья,
футболист крылатый в кроссовках «Boss».
Он смотрел на смерть и подбирал названья
смерти: Билли Джоэл, «Pet Shop Boys»?

О чём-то таком мимолётно пелось,
чему-то уже подводился итог,

а вот пришла половая зрелость
с вонючей розою между ног.

Молодёжь увлекалась анашой и брейком,
Катилина новый готовил речь,
а чтобы быть наравне с веком,
нужно было на землю лечь.

КОНЕЦ 97-го ГОДА

Я был Дед Морозом. На детской ёлке
вручал подарки и шутил некстати.
Бантики девочек, мальчиков чёлки
и педколлектив за бутылкой «Спуманте».
Снегурочка дико улыбалась,
щёлкали орехи учителя-невежды.
Это было тогда, когда не осталось
в моей душе ни одной надежды.

Работал чёрт знает где, посуда
звенела, Киркорова пели песни,
и дети кричали и хотели чуда,
мол, воду превращай им в пепси.

А я когда-то в больнице лечился
от психопатии, объехал полсвета,
а я когда-то в Москве учился
и обсуждался на семинаре одного поэта.

«Это, конечно, поэзия — но я почему-то
ничего не понял — такое дело», —
говорил он, теперь он умер, оттуда
я видел, как лицо его побелело.

А я бывал в гостях у великих,
а мне присылали гонорар в конверте,
а я когда-то писал книги
и даже выступал на одном концерте.

Меня не убили, не забрали в солдаты,
а мне присылали гонорар в конверте.
А теперь у меня борода из ваты,
колпак дурацкий и дудка смерти.

Ну что вам нужно? На этом свете
ещё при жизни мы будем квиты.
Но продолжали смеяться дети,
и педколлектив поглощал бисквиты.

29 декабря 1997

* * *

Уроки сольфеджио, нехотя ноты идут,
но словно учитель забылся в момент разоренья
фригидного класса. А если ответ разобьют
единственно правильный — фальшь обретёт оперенья.
Замена моя — эта девушка с тёмным лицом,
и радостным всплеском метнулись к фаготам тарелки,
невеста моя говорит с деревянным кольцом,
нет золота в мире, и нету огня у сиделки.
Колено моё не коснется истраченных крыш,
судьба не коснётся другая —
годового танца,
когда я погибну, меня поцелует Париж
и вспыхнет вода, отражая больного испанца.
Прими, Дар-гора, прокажённому в летнем пальто!
Разлука с тобою подобна тебе на рассвете,
и там на тебе окаянный играет в лото
убивец,
и череп Мальвины рыдает в просвете!

28 ФЕВРАЛЯ 1997

Я тоже прожил в одиночестве
полжизни и стихи шептал,
и я вращался в светском обществе,
и водку залпом выпивал,
и вслух бессмертное читал.

Мне снятся времена прошедшие:
какой-то день, какой-то год.
Меня любили сумасшедшие
и больно целовали в рот.

Я был и плотью и видением,
проходим, дождиком, трухой
и громким увлекался пением,
художественной чепухой.

В любви, в работе или в праздности,
езде — и на краю земли,
всегда большие неприятности
за мною почему-то шли.

Пускай мне не хватало мужества,
товарища в моём пути —
но время славы или ужаса
останется в моей горсти.

27 февраля 1997

НАШЕ ВРЕМЯ

С банкой «Спрайта» уйти за черту,
где молодости гипсовая маска
заболеет, держать свечу
над сердцем моим неритмичным.
Твоё чувствительное пламя
мне душу почти спалило.
Одноклассники-хулиганы
всё так же смеются, телевизор
горит, и лицо на экране
двоится, двоится, двоится.

Так сложилась баллада о жизни
и любви: ты была этим летом
легка, сексуальна, обречена.
Ты ходила уже не с картин
какого-то Тулуз-Лотрека,
а с рекламных афиш городских,
где так мистики много и случайной
гибели — например:
крушение поезда, выстрел,
перевёрнутая лодка у самого берега,
весёлый маньяк с монтировкой.
Неужели настолько мы связаны
с нашим временем, где никому
нет пощады, современный потоп
заливает подвалы ЖЭКа
и неслышно крадётся наверх,
чтоб в зелёной воде два любовника,

как две рыбы, смотрели друг на друга,
узнавая и не узнавая.
Вместо рук у нас плавники,
и над нами плывут пустые
банки «Кока-кола» и «Спрайт».

17 августа 1997

ПРОЩАЙ, МУЗА!

Я повторяю «навсегда»,
как будто мёртвые проснутся,
как будто наши поезда
когда-нибудь пересекутся.

Давным-давно в одной стране
моторчик пел и сердце билось,
как будто всё приснилось мне,
а я не знал, что мне приснилось

всё это: дачный магазин,
и Дон Кихот, и Санчо Панса,
сюжет поэм или картин
смешной эпохи Ренессанса.

Когда под небо этажи
тянулись в небо голубое,
когда учёные мужи
писали что-нибудь такое

хорошее, и я купил
«Родона», и лепил из глины.
И хмурый Дант не говорил,
что он дошёл до половины.

Давным-давно в одной стране
моторчик пел и сердце билось,

как будто всё приснилось мне,
а я не знал, что мне приснилось.

Мы на вокзале постоим —
на этом рубеже коротком.
И я прижмусь к рукам твоим
губами или подбородком.

1 ноября 1997

пожелтели, как листья, зелёные деньги,
компьютерный вирус
уничтожил фамилии ваши
и вывел за скобки
эти годы, которые я никому не прощу.

25 августа 1997

ПАСХА

В 2002-м не умереть совсем,
сидит над справочником каббалист-очкарик,
евреи штурмуют Вифлеем,
и среди них мой одноклассник Арик.
Мой крестоносец! Дело на мази,
паскудный Бах в твоём концертном зале,
Израиль, армия, УЗИ,
собаки райские премьер-министра искусали.
Расковыряй болячку коготком,
хвост распуши и поделись иными снами.

.....

Директор школы. И песочница с песком,
когда судьба по следу шла за нами,
как трудовик с учебным молотком,
как палестинец с мокрыми глазами.

БЕСКОНЕЧНЫЙ ГОД

Какой-то необычный свет,
вернее, фосфора свечение.
Всё было так давно, что нет
для этих лет обозначенья.

Какой-то бесконечный день,
поход на праздничную ёлку,
и длинный кожаный ремень,
и олимпийскую футболку

ты купишь в дорогом ларьке,
поедешь на родную дачу,
сжимая в маленькой руке
свою немалую удачу.

Уносятся колечки прочь,
колечки свадебного дыма.
Как ты прекрасна в эту ночь,
бесстрашна и неуловима.

И ты прикуриваешь, как
Лаура, — если бы курила
Мадонна. Ты неуловима,
а я законченный дурак.

С бутылью грустного вина,
приближенный к пустому раю,

«Будь только вымыслу верна», —
цитирую и подражаю.

Какой-то бесконечный год
суровый, бесконечный, летний.
Ушёл последний теплоход
легчайший, молодой, последний.

27 мая 1997

ПОСЛЕ ВСЕГО

Цены растут, одноклассники мрут,
поезд уйдёт через десять минут,
и за спиною останется город:
адское пламя и Ева в раю.
Был ли я счастлив? Был ли я молод?
Спас ли бесценную душу свою?
Пчёлы кружат, армяне орут,
поезд уйдёт через десять минут.

17 мая 1997

растущей светотенью

* * *

Я устал от разговоров,
от вокзалов, контролёров,
от поездок в никуда,
от прощаний навсегда.
Мне теперь ночами снится
платье белое из ситца,
Муза, девочка, звезда.
Я теперь за всё отвечу
горлом, венами, виском.
Я бегу к тебе навстречу,
я бегу к тебе навстречу,
я бегу к тебе навстречу
босиком.

19 июня 1997

ВТОРОЕ ПИСЬМО

Е. Л.

Я думаю, лет через двадцать
к тебе дойдёт моё письмо
сквозь новый быт, сквозь сутолоку вокзала.
Ты даже не согласишься в то, что мы
с тобою вместе жили, пили чай,
курили те же папиросы,
в одной постели спали в общежитии.
Там нету ни вина, ни сна, ни денег,
Ты — мой единственный живущий современник,
Ты — мой поэт, читатель мой жестокий,
неизданное сочиненье.
Лет через двадцать я почти умру,
и вот письмо. Я вспоминаю дом
на Сретенке горбатой, два окна,
там не хватает лишь плиты мемориальной,
отсюда мир сквозь тусклое стекло
просматривается до мельчайших капель.
Живёт Москва с напудренным виском,
выходят красные журналы. Нет,
не ждут нас толстые редакторы, мы позже
напечатаемся, под чёрною обложкою вместе.
Как были вместе, так и стали вместе,
на новом месте и на старом месте.
Мы — те же алкоголики, мы — те,
чьё зрение острее в темноте,
отсутствием подчёркнутый пейзаж

и многотомника рассыпанный тираж,
снег кристаллический. Москва. Москвой. Москве.
Стоит блестящий фикус на окне,
как знак провала, как молчащий зверь,
стучится лошадь розовая в дверь.
Лет через двадцать ты прокрутишь вновь
тот фильм немой, тот опус бесконечный
одна. И при потухшем свете — жизнь
окажется растущей светотенью.

РОДИНА

И только возвращением не мучь...
Какой-то пасмурный невыразимый луч
воспоминания: двоящийся пустырь,
пятиэтажка, бабочка, снегирь.

Вот малолетка наполняет шприц
во мраке общежитий и больниц,
на лодочке катается дурак,
на маленькой Голгофе свищет рак.

Я жил в стране, которая была
прекрасней всех и потому светла
наполовину, вот такой расклад:
летит снегирь, а бабочки горят.

* * *

Как выслали Пушкина — шутка во мгле приключилась.
Ночной небосвод погрузился в молчанье с усмешкой,
сам чёрт с неразлучной свинчаткой пустился в погоню
за каменным сердцем почившего тополя. Сутки
седой человек по дороге ходил, забирая
то ставни дождя, то из форточки дым, и струилась
прохлада растений, живая древесная повесть
у жизни в краях неприятных, но гордых и страшных.
Но шутка ли? Шутка. Наколка на правой ладони,
червовые стрелы, пиковые дамы, просторы
с кипящим вином. А на кивере вечные горы.
Не вечные руки, не вечные красные кони.
Непривычно сидеть за разбитым корытом и звоном
ощущать приближение осени в полых оковах.
Но воздастся ли мне за терпение оное? Нет же.
На равнине луна. Это знак — и, конечно, не в милость.
Ты веришь теперь в роковую звезду Кишинёва?

ВНУТРЕННЯЯ БАЛЛАДА НОМЕР...

И снова возвращался он
из путешествия большого,
и в зеркало, как на чужого,
смотрел, наследством поражён.

Ты был когда-то молодым
под этим молчаливым небом.
Что сделало тебя таким
несимпатичным и нелепым?

Возможно, ты объездил свет
с каким-то спутником незрячим.
Возможно, циркачом бродячим
ты отработал двадцать лет?

На всё, на выдумки горазд,
стрелял, играл и улыбался.
С тобою пьянствовал гимнаст,
канатоходец целовался.

Ты пил вино и молоко,
любил и потерял немало.
И только девушка в трико
тебя за плечи обнимала.

7 апреля 1997

ВЫСОТА

Твоя бывшая маленькая девушка,
твоя бывшая маленькая девушка,
где твоя бывшая маленькая девушка?

Он провёл в этом городе большую часть жизни,
он работал верхолазом, ремонтировал
сумасшедший памятник Родине-матери, он был
настоящим профессионалом, два раза
он падал с каменной ладони, но возвращался
«поближе к тебе», моя бывшая маленькая девушка,
он приговаривал, щёлкая стальным карабином.

Ночами

он не просыпался в ледяном поту
и не проверял снаряжение. Никогда.
Смотри, это восходит солнце нашей радости,
и с бутылочкой пива легко предсказать свою
инвалидную судьбу — «вперёд» — как кубинские
революционеры говорили, когда
из тропических зарослей полыхало
секретное оружие.

Она тоже не боялась смерти, твоя
бывшая маленькая девушка.
По вечерам приезжают к вашей любимой забегаловке
мордovorоты в спортивных костюмах и тапочках,
по вечерам выгуливают собак на вашей
любимой улице,
они стали намного злее.

По вечерам студенты провожают своё лето
воспалёнными глазами. Зачем
не играет ещё прощальная музыка?
Зачем он живёт с этой кровью
в мускулах и затылке? Давно пора
поменять эту кровь на газированную воду.
Давно пора сделать чучело из прошлого
и сжечь его, о как громко
и быстро сгорает прошлое, когда
он сорвётся в третий раз, его подхватит
разумная сила самоуничтожения, и он
превратится в гигантскую птицу, в худую звезду.
Он сделает то,
на что я не решусь, моя бывшая маленькая девушка!

11 июля 1997

МУЗА ПРОВИНЦИИ

Мы отсюда вернёмся босыми
иль погибнем наверняка.
Почему ты меня не бросила?
Алкоголика, дурака?

В электричке, набитой наглухо,
та, которая едет во тьму,
ты нашла бы другого олуха,
ты б его научила всему.

У меня только снег и свобода,
с каждым годом я старше, злей.
Ты ли Муза того Гесиода,
ты ли музыка белых полей?

Где рабочие бьют кувалдами,
где начальнички деньги гребут,
я твоими живу балладами,
презирая физический труд.

С твоего повторяю голоса
и тетрадь большую открыл.
А с меня не упало ни волоса,
я нисколько не заплатил.

23 января 1997

* * *

Худая ласточка и звонкая синица —
натянут жгут и кончен век.
И падает трепещущая птица
в январский снег.

На том снегу запутаны и мнимы
твои следы и молодые сны,
мы были кем-то трижды нелюбимы,
какой-то вечностью утомлены.

Горят на свалке жёлтые тетрадки,
и страшно мне и горячо.
А кто-нибудь стреляет из рогатки,
но смотрит через левое плечо.

Вот десять лет второстепенной жизни
и прошлое горбатое в глазах —
уже твои мелькают джинсы
в разбитых обречённых поездах.

Вот десять лет — и много крови.
Но, уходя из дома своего,
что унесёшь на крыльях, в клюве?
Чем оправдаешься, погибнешь для кого?

22 сентября 1997

ГЛАВНЫЙ ЛЕКАРЬ, СТОЯЩИЙ НА ПОСТАМЕНТЕ

Я лежал в больнице для психов,
правда, в открытом отделении, внизу
находилось закрытое, т. е.
я был не опасен
и убивал двух зайцев сразу: косил
от армии

и всё-таки лечился.
Каждый вечер молодая медсестра
(я повторяюсь, молодая)
выдавала никчёмные лекарства,
антидепрессанты я выкидывал сразу,
седатики собирал — мало ли в жизни
случаев:

лекция (нобелевская), поход
в военкомат, милицию и проч.
В женском отделении, тоже открытом
(т. е. не опасном),
преобладали одни истерички,
но с одной машинисткой из
прокуратуры

я познакомился.
Она была ничего себе.
Мы однажды удрали из дома
сумасшедшего (с ней). В общем, это
лишь грозило каким-то выговором,
и всё. Она — вылитая Йоко Оно
(в 60-х).

Мы однажды удрали из дома,
а напротив виднелся завод,
нам не надобно было парома,
впереди не виднелось вод
Стикса: где-то, в какой-то квартире,
в полночь или часа в четыре
мы бутылку вина допили
и друг друга любили.
Расставаясь под Рихарда Штрауса,
что по радио скрипкой визжал,
я с похмелья подумал: что может
быть серьёзнее или пошлее
этой встречи в квартире пустой?
А теперь не спеши, постой,
дай задуматься, дай передышку,
обойду все кварталы по кругу,
заведу, как убогий, мартышку
и пошляюсь то к смерти, то к другу.
Нет. Я спал, мне привиделась снегом
занесённая площадь, и Главный
Психиатр стоял на постаменте,
дети возлагали к нему лечебные ромашки.
До свиданья, конь бледный, конь
вороной,
прощайте, трубы завода, клизмы
в руках
опытных медиков.
До скорого, Каменный Гость.

ВОЗМЕЗДИЕ

И ты держал библейское кольцо,
вертел его налево и направо.
Что остаётся будущим векам?
Гамлёта настоящее лицо,
актёра подозрительная слава
и что-то недоступное рукам,

рассудку современному. Случайно
в наш город театр приехал налегке.
Но для чего сжимает в кулаке
певица розу? Клавдий в парике
рассматривает зрителей печально.

И для чего рассерженный Пьеро
играет привиденье? Коломбина
тряпичной куклой по реке плывёт.
Не браконьера бойкое перо,
а флорентийца жуткая картина,
виденья адские. Одиннадцатый год.

Возмездия худые соловьи,
болота, гарь, военные составы.
Как водится, история семьи,
а дальше — ненаписанные главы,
где не Онегин, а совсем другой
убьёт поэта — о гори, тетрадка!
Что остаётся? Поворот лица?
Но что мне делать с юностью такой:

не умереть от нервного припадка,
не сочинить поэму до конца.

27 февраля 1997

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

Временно проживающий в этой кубатуре,
жующий свой завтрак ровно по московскому времени,
выпивающий чашку кофе и следящий за стрелкой —
я — сам себе собеседник, читатель, свой собственный эпигон.
Знаешь, я уже дошёл до того, что смогу выговорить твоё лицо,
я сам себе — ты и не нуждаюсь в твоём присутствии,
страна, расположенная по ту сторону
и бросающая мне на эту
лишь труп газеты.

Вот я, например, родился здесь, скоро наклею вторую
фотографию в документ,
съездил в некоторые города и осмотрел музеи,
купался в твоих реках, пил твой портвейн,
пользовался общественным туалетом,
знакомился с кем-то, сплетничал, предавал — ну, в общем, жил.
Вот я, например, женюсь на актрисе драмтеатра,
попью ещё вина, попользуюсь общ. туалетом —
но это же подвиг!

Я хочу что-нибудь получить взамен.
Например, полный медицинский покой,
персональную пенсию для ветерана жизни —
или —
чтобы меня не убили в твоей подворотне
до моей естественной гибели.

* * *

Через войну и дым окраин
бежал прокуренный вагон.
Я вечностью тяжёлой ранен
и лёгким мигом утомлён.
Мне хочется к тебе прорваться
сквозь пепел солнца моего,
с любимыми не расставайтесь
и не прощайте ничего.
Когда за окнами — деревни
и гибель новая в окне,
вдвойне становишься смиренней
или восторженной вдвойне.
За мною опытная травля,
колёс невыносимый стук.
Я знаю — никакая правда
не стоит боли и разлук,
твоих невозвратимых рук.
Так станем облаком и криком,
травою, каплей дождевой,
стихотворением великим,
травою, каплей дождевой,
так станем светом или тьмой!

А если этот день продлится?
А если что-нибудь случится?
А если что-нибудь случится
с травою, с каплей дождевой?

Змея, счастливая подкова,
и тот прокуренный вагон —
сон для поэта Кочеткова,
последний, предпоследний сон.

* * *

Под Новый год я видел сон счастливый:
велосипед и пионер сопливый,
взлетевший в кучевые облака,
и яблоки, и маленькие сливы,
и чья-то белая, горячая рука

на лбу моём. И я проснулся ночью,
и я поставил небольшую точку
на жизни неудачной, в одиночку.
Я праздник встретил, рюмочку вертел.

Я загадал решительную строчку,
блестели спицы, пионер летел.

20 июня 1997

БАЛЛАДА

Над сельской пристанью звезда,
тяжёлая звезда.
Из сельской пристани вода,
зелёная вода.

Механик курит «Беломор»,
змея шипит в кустах,
выходит на работу вор
с верёвкой в зубах.

Худая девушка Мари
не станет ночью спать,
она не ляжет до зари
в глубокую кровать.

В пушистых тапочках своих
под деревом сидит.
Её блистательный жених
за миллион убит.

Он лёг сгореть и утонуть
и сердце съесть своё —
ему связали руки, в грудь
воткнули лезвиё.

Схластики учитель спит
к Распятию спиной,

с единорогом говорит
алхимик молодой.

А в сельском клубе под замком,
где сторож пьёт стакан,
ты слышишь, заиграл тайком
пронзительный орган.

И в вертолёте небольшом,
в огромных облаках,
его из Рима привезли,
его построил Бах.

В цветах, в ушанках из цветов
и мы пойдём к реке,
бессмертие не знает слов
на русском языке.

Уже механик докурил
и бросил вор кастет.
Невероятный шелест крыл
и незабвенный свет.

Вот всё, что делает всегда
бесмыслицу — судьбой,
когда прощается звезда
с зелёною водой.

30 ноября 1997

* * *

В зимнем городе мёрзнет шинель палача,
и сравнительно тихо под каменным небом,
но больничное утро дрожаньем плеча
выдаёт беглеца перед самым побегом.
На перила мостов снизошла пелена,
оголив облака, извивается, тает,
на Бутырке ворона (а в клюве луна)
с мертвецами старинную басню играет.
Мой прекрасный! Когда и тебя поведут —
будет тихое утро, на улицах сыро,
в зимнем городе страшно вороны поют
и бросают на головы ломтики сыра.
Я устану бояться, когда-нибудь я
перережу рассвет одноразовой бритвой.
В зимнем городе пусто, и дышит броня
никому не известной доселе молитвой.
И глядят удивлённо в ограду цари,
наступает заря на разбитую банку,
за святую субботу горят фонари,
и шинель палача накрывает Лубянку.
И кому-то зашепчется в дыме: жара,
может, пьяной старухе у пьяной коптилки,
в зимнем городе мёрзнет чужая жена,
и чужие друзья открывают бутылки —
им не хочется есть, им не хочется пить,
им довольно огня неживого рисунка.
Я ещё собираюсь тебя полюбить
в этом городе тёмном на склоне рассудка.

Я ещё собираюсь, но плавит свеча
застеклённый, случайный, поспешный румянец,
в зимнем городе мёрзнет шинель палача,
но сильнее всего указательный палец.
Не забудь же, Господь, ты жилище моё,
я совсем не кричу, кое-как заклинаю.
Я надену опять гробовое бельё,
погашу фитилёк и тебя не узнаю.

НЕКРОЛОГ

Лежать с тобой в одной могиле,
в степи, пернатый слушать крик
и знать, что нас уже забыли
и наших не читают книг.

Лежать под тем крестом, который
вот-вот от ветра упадёт,
и слушать, как грохочет скорый
и злой локомотив орёт.

Наш город детства уничтожен,
и стёрлись в памяти слова,
но повод к жалобе — ничтожен:
над нами небо и трава.

Не болью, не земным уродством,
не птицей, что взлетела ввысь,
а вымыслом, судьбой, сиротством,
самим искусством похвались.

10 февраля 1997

В ПОЕЗДЕ — К ТЕБЕ

Я повторял стихи знакомые
и листьями дышал багряными,
и ангелы кружились новые
с глазами грустными и пьяными.
Мне было жарко или холодно.
Равнина расстилалась кроткая.

Вот и прошла дурная молодость,
неискренняя и короткая.
Я мчался в этом громком поезде
среди своих лесов изменчивых
и думал о беспечном возрасте
и о твоих руках доверчивых.

Звезда. Боярышника заросли.
Я счастлив, будто на свидании.
Кто знает о великом замысле?
Кто помнит о своём призвании?

Кино, пирог и день рождения.
Лепёшки овсяные, пшённые —
вот исчезает поколение,
как будто мотыльки сожжённые.
Когда они в полёт решающий
идут, серьёзные и бедные,
где только твой фантом нетающий,
мои иллюзии бессмертные.

3 июля 1997

* * *

На изломанном конверте
заводные соловьи,
как присутствия на смерти
очертания мои.
А за шторами седыми
мчится ветер на коне,
мы пребудем молодыми
в зарешеченном окне.

Как бы свет приподнимая,
тьму закатную возьми,
чтобы не уйти до мая
без вещей и без любви
с моря, пляшущего шумно
на твоих костях,
осень говорит безумно
о последних новостях.
И, раскачивая лодку
для ненужных строк,
тёмный жар припомнит водку,
купленную впрок.

* * *

Не строчками серьёзными и честными
я победил, а радостью хмельной.
Мои стихи, не ставшие известными,
отмечены свободой двойной.
Кто их прочтёт? Трава, деревья, ангелы;
дома безглазые, трамвайное кольцо!..
Я задышал бессонною отвагою,
я посмотрел забвению в лицо.
О губы красные, ресницы опалённые,
остаток жизни и осадок дней!
Быть может, вещи неодошевлённые
восхищены работою моей.

13 июля 1997

О ЛЁНЕ ШЕВЧЕНКО¹

Это было в 1990-м. Я только-только начала преподавать в Литинституте — и Лёня Шевченко стал моим первым и главным осознанным учеником. Он был самый талантливый, самый красивый и самый невоспитуемый из наших семинаристов-первокурсников — похожий одновременно на Пьеро и на Блока, бледный, печальный, загадочный. Он, юный-юный, уже успел поучиться в Волгоградском университете — заскучал, бросил, послал стихи в Москву, на Тверской бульвар, 25... Стихи поразили сразу и наповал. Одно из них приведу здесь полностью:

*Стучат монеты, кости, спички.
На Лобном месте — ночь и турки.
Полупустые электрички
катают в тамбурах окурки.
Ты обернулась и сказала,
про долгий-долгий путь сказала —
от Ярославского вокзала
до Ярославского вокзала...
Всего пятёрка — эдельвейсы.
Смеются головы с помостов.
Платформа — справа, слева — рельсы,
Лосиный остров-полуостров.
Ты обернулась и сказала,*

¹ Эссе опубликовано в журнале «Знамя» (№3, 2003) как предисловие к повести Леонида Шевченко «Степень родства», а также в книге Татьяны Бек «До свиданья, алфавит» (М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2003) под названием «Про Лёнечку Шевченко». Цит. по: <https://znamlit.ru/publication.php?id=1963>

*про долгий-долгий путь сказала,
что от Арбата до Арбата,
от Ярославского вокзала,
от Ярославского до прозы.
А у кремлёвского солдата
в шинели путаются слёзы.*

Такой вот шедевр в разливанном приёмном самотёке.

В «Учётной карточке студента», хранящейся в институтском архиве, лежит моя записка — рецензия на рукопись тогда ещё не известного мне Л. Шевченко (год рожд. 1972), присланную на творческий конкурс: «А это — поэт, как пить дать. А ведь всего-навсего 18 лет... Мощный лирический напор... Глубочайший трагизм восприятия... Все недостатки — пустяки, ибо есть тут яркая и сильная личность. Я бы не только рекомендовала этого волгоградского мальчика на 2-й тур — я бы проследила, чтобы он случайно не сорвался на экзаменах».

Проследили — не сорвался — зачислили. Трудности пошли дальше: Лёня совсем не мог быть как все, выступать на обсуждениях, сдавать вовремя зачёты... И вообще! Видимо, хорошо зная своего внука, Лёнина бабушка — Олимпиада Фёдоровна (она и есть даже не прототип, а именно героиня повести «Степень родства», к которой я сейчас пишу это предисловие) — разыскала мой телефон, прозвонилась, и мы подолгу говорили с ней, строя планы, как Лёню адаптировать к институту и, шире, к Москве. Бабушка, известный в Волгограде радиожурналист, то бурлила позитивной энергией, то просто всхлипывала, а время от времени ставила меня перед фактом: «Выслала посылку с волгоградскими фруктами для вашего семинара». Я, вздохнув, ехала к семи утра на Павелецкий вокзал и получала от проводника картонный ящик с маленькими, сладкими, терпкими грушами. А Лёня тем временем писал стихи — чем дальше, тем самобытней, на семинарах молчал как в рот набрав воды и ломал всяческие дрова в личной жизни. Часто приходил ко мне в гости, брал книги, опять молчал... Литинститут Лёня Шевченко бросил на 3-м курсе, не осилив очередную сессию. Уехал домой в город, который очень любил и которым очень тяготился, о чём позднее

написал дивный очерк «Царицын — Сталинград — Волгоград: экскурсия для Песочного Человека» («Знамя», 2002, №5 — напечатан посмертно в рубрике «Литературный пейзаж»). Слал и мне, и Чупринину письма, стихи, эссе — «Знамя» его исправно печатало в разных жанрах.

Однажды, году в 99-м (Лёня тогда работал библиотекарем), он неожиданно-негаданно позвонил мне из Волгограда спозаранку и сказал серьёзно и выношенно, будто всю ночь об этом только и думал: «Татьяна Александровна, я давно хочу и не решаюсь сказать вам, что ваши стихи отравлены смыслом»... Я на мгновенье задохнулась, ощутив себя Максим Максимычем при Печорине, но сама на себя цыкнула и констатировала: ученик оборотился в нельстивого, и несентиментального, и, наверное, справедливого учителя.

Последние письма ко мне Лёня подписывал как «волгоградский Рембо» (он занялся журналистикой). Прислал стихотворную книгу с двоящимся названием «Рок». Приезжал осенью 2001-го на совещание молодых писателей в подмосковный посёлок Липки и, говорят, снискал там заслуженный восторг мастеров и сверстников.

В апреле 2002 года тридцатилетнего Лёню Шевченко, когда он вечером шёл с работы, убили уличные бандиты²...

...Повесть, которую вы сейчас прочтёте, — она выстроена вдохновенно, как музыкальная пьеса, — написана вскоре после смерти бабушки и почти накануне смерти автора. В таком, узком, как двухлетняя трещина, промежутке. Когда читаешь эту прозу — ещё дрожаще живую, но уже необратимо посмертную, — каждый слог, и знак, и образ кажется вещим (зловещим), пророческим, колдовским предчувствием. Жизнь и смерть неразделимы и взаимоперетекают — границ нет. Бабушка приходит в сон к герою, чтобы оттуда показать внуку, какую церковь построили тут (там), где он ещё жив: «...В последний раз! Пошли, и давай быстрее, раззява! Вверх по лестнице, мимо набухших, как мартовские почки, могил»... Всё-всё в этой прозе предсказал себе поэт, посмо-

² Эта версия официально не подтверждена: см. эссе Елены Ластовиной в настоящем издании.

трел на грядущее дерзко и в упор, не спрятался и не отвёл глаза.

...Большой талант. И огромная утрата. И нету сил золотить пилюлю.

| | |
|--|----|
| Майский жук | 45 |
| Отъезд магистра | 47 |
| Любовь | 48 |
| «Я снова проснулся, и лёд почерствел...» | 50 |
| «Мой старый бог, мы так с тобой унылы...» | 51 |
| Из повести в стихах | 52 |
| «Теперь зиму ю я, друзья, поближе к милому пределу...» . . | 54 |

II. ВОЗМОЖНО, ТАМ КАКОЙ-ТО РАЙ

| | |
|--|----|
| Газета | 56 |
| Последний репортаж | 57 |
| Разговор на площади | 59 |
| «Люди, которым я доверял...» | 60 |
| Апельсины | 61 |
| «Мы вышли из чёрного парадиза...» | 63 |
| Тёмный путь | 64 |
| «Вечерние капли дрожат на весу...» | 65 |
| Розовый клоун | 66 |
| Кукла | 67 |
| Печаль торжественной ошибки | 69 |
| Рыбы-птицы | 70 |
| Ликантропия | 71 |
| Выпускная баллада на теплоходе | 73 |

III. ДАВНЫМ-ДАВНО В ОДНОЙ СТРАНЕ

| | |
|---|----|
| Россия | 76 |
| «Мне смешно — рикошетом сменяются дни...» | 77 |
| Из цикла «К освобождённому Иерусалиму» | 78 |
| 1932–47 годы / Ради музыки | |
| I. «Дистрофики под раздражённым Богом...» | 79 |
| II. «В будущее падать птицей...» | 79 |
| III. «Не умереть и стать артисткой...» | 80 |
| 1953 год | 82 |
| «Был Бог, и был казнённый сад...» | 84 |
| Приключения Буратино — 75-й год | 85 |

| | |
|---|-----|
| Муза 80-го года | 87 |
| Вторая половина 80-х | 89 |
| Конец 97-го года | 91 |
| «Уроки сольфеджио, нехотя ноты идут...» | 93 |
| 28 февраля 1997 | 94 |
| Наше время | 95 |
| Прощай, Муза! | 97 |
| 2043 год | 99 |
| Пасха | 101 |
| Бесконечный год | 102 |
| После всего | 103 |

IV. РАСТУЩЕЙ СВЕТОТЕНЬЮ

| | |
|--|-----|
| «Я устал от разговоров...» | 106 |
| Второе письмо | 107 |
| Родина | 109 |
| «Как выслали Пушкина — шутка во мгле приключилась...» | 110 |
| Внутренняя баллада номер... | 111 |
| Высота | 112 |
| Муза провинции | 114 |
| «Худая ласточка и звонкая синица...» | 115 |
| Главный лекарь, стоящий на постаменте | 116 |
| Возмездие | 118 |
| Последняя просьба | 120 |
| «Через войну и дым окраин...» | 121 |
| «Под Новый год я видел сон счастливый...» | 123 |
| Баллада | 124 |
| «В зимнем городе мёрзнет шинель палача...» | 126 |
| Некролог | 128 |
| В поезде — к тебе | 129 |
| «На изломанном конверте...» | 130 |
| «Не строчками серьёзными и честными...» | 131 |
| <i>Татьяна Бек. Про Лёню Шевченко</i> | 132 |

**Проект
«ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ»**

**Антологии литературных чтений
«Они ушли. Они остались»**

1. **«Уйти. Остаться. Жить» (Том I: 1990–2010-е) /** Составители Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, И. Б. Медведева, В. В. Коркунов. — М.: ЛитГОСТ, 2016. — 460 с.
2. **«Уйти. Остаться. Жить» (Том II. Часть I: 1970-е) /** Составители Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, Н. В. Милешкин. — М.: ЛитГОСТ, 2019. — (Второе издание: 2020 г.) — 388 с.
3. **«Уйти. Остаться. Жить» (Том II. Часть II: 1980-е) /** Составители Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, Н. В. Милешкин. — М.: ЛитГОСТ, 2019. — (Второе издание: 2020 г.) — 456 с.

**Серия
Поэты литературных чтений
«Они ушли. Они остались»**

Редакционная коллегия:

Б. О. Кутенков, Е. В. Семёнова, Н. В. Милешкин

1. **Владимир Полетаев**, «Прозрачный циферблат». — М.: ЛитГОСТ, 2019. — 150 с.
2. **Михаил Фельдман**, «Ещё одно имя Богу». — М.: ЛитГОСТ, 2020. — 100 с.
3. **Алексей Сомов**, «Грубей и небесней». — М.: ЛитГОСТ, 2021. — 220 с.
4. **Гоша Буренин**, «луна луна и ещё немного». — М.: ЛитГОСТ, 2021. — 96 с.
5. **Леонид Шевченко**, «Забвению в лицо». — М.: ЛитГОСТ, 2022. — 140 с.

Литературно-художественное издание

Книжная серия

«Поэты литературных чтений “Они ушли. Они остались”»

Леонид Шевченко

Забвению в лицо

стихотворения

Технический редактор *Владимир Коркунов*
Редакторы *Борис Кутенков, Елена Ластовина,*
Николай Милешкин, Елена Семёнова
Корректор *Татьяна Никольская*



9 785604 192061

Бумага офсетная
Гарнитура FavoritBookC
Тираж 400 экз.
Подписано в печать 01.08.2022 г.

«ЛитГОСТ»

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл.,
г. Старый Оскол,
Комсомольский пр-т, 73
kvadrat1998@gmail.com